



Аркадий Черноморский

Последний подарок  
Потёмкина

Аркадий Черноморский  
**Последний подарок Потемкина**

«У Никитских ворот»

2021

УДК 82-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6

**Черноморский А.**

Последний подарок Потемкина / А. Черноморский — «У  
Никитских ворот», 2021

ISBN 978-5-00170-422-5

Действие историко-фантастического романа «Последний подарок Потёмкина» переносит читателя в разные исторические эпохи. Ленинградский подросток становится свидетелем ночного тарана немецкого бомбардировщика летчиком-героем Севастьяновым над блокадным Ленинградом в ноябре 1941 года. Удивительным образом он оказывается в Таврическом дворце, где князь Потёмкин готовится к своему последнему балу в Северной столице в честь взятия крепости Измаил. Многоплановая панорама позволяет читателю пообщаться с историческими персонажами того времени: княгиней Дашковой, поэтом Державиным, атаманом Головатым, надворным советником Цейтлиным, а также с таинственной ижорской колдуньей-нойдой и загадочной левреткой императрицы – Изидой. И, конечно же, со светлейшим князем Потёмкиным-Таврическим, оставившим после себя столько деяний и легенд... Остросюжетный роман предназначен для широкого круга читателей, интересующихся историей, мистикой, религией и искусством.

УДК 82-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-00170-422-5

© Черноморский А., 2021  
© У Никитских ворот, 2021

## Содержание

От автора	6
Книга первая	8
Вместо предисловия	8
Глава первая	9
Глава вторая	19
Глава третья	30
Глава четвертая	40
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Аркадий Черноморский

## Последний подарок Потёмкина

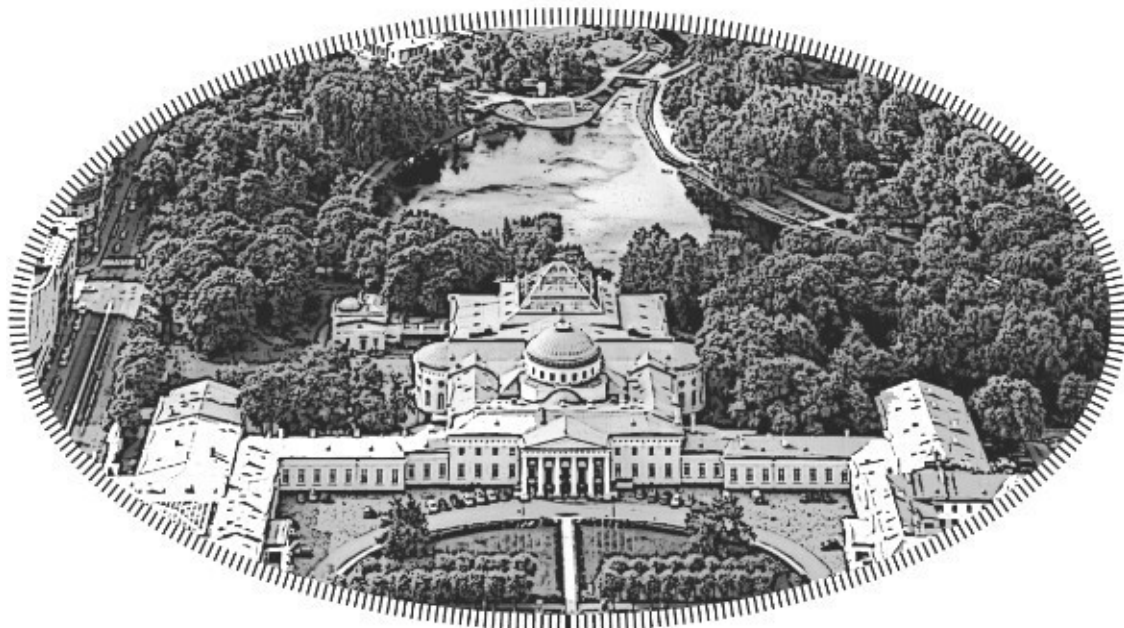
*Нашим родителям – ленинградским подросткам, пережившим  
блокаду, посвящается...*

© Черноморский А., 2021

© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2021



## От автора



Утро каникул моего детства начиналось всегда одинаково. Лучи пугливого ленинградского солнца осторожно освещали большой обеденный стол, стоящий посреди бабушкиной комнаты. На столе дымился классический завтрак шестидесятых: глубокая тарелка овсяной каши, гордо носившей античное название «Геркулес», с желтой лужицей растаявшего сливочного масла и стакан кофе с двумя ложками сгущенки. Собственно, это был и не кофе вовсе, а кофейный напиток «Здоровье»: смесь жареного молотого ячменя с цикорием. Но именно он и являлся столь желанным завершением завтрака. Мне всегда хотелось обхитрить бабушку – оставить на тарелке как можно больше изрядно надоевшей каши и, выпив «радуящий язык и нёбо» кофейный напиток, удрать из-за стола. Но бабушка была начеку. Подсаживаясь к столу, она печально вздыхала и говорила:

– Доешь, пожалуйста, нехорошо еду оставлять... ты ведь помнишь про блокаду?.. я тебе рассказывала...

– Не помню, – хитрил я, – расскажи снова...

И, подперев щеку, она безропотно начинала свой рассказ. Всегда с одних и тех же слов: «Когда немцы окружили Ленинград, начался голод...» Справившись с кашей, я спешил сменить тему и просил ее:

– Ба, а теперь про Потёмкина...

Она подводила меня к окну, из которого был виден зеленый океан Таврического сада, и показывала плоскости оранжерейных стекол сказочного дворца, отражающие и рассеивающие голубовато-серый свет питерского пространства.

– Там жил Потёмкин, да?

– Да, там жил Григорий Александрович Потёмкин-Таврический... И тихо шептала мне на ухо: «Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом...» Видишь, вон он – его Дворец!»

Читатель, когда со страниц этой книги автор позволит себе время от времени обращаться к тебе, я надеюсь, что в его голосе ты услышишь и различишь обертоны того чуть глуховатого,

чуть дребезжащего, как старый, треснувший хрустальный колокольчик, голоса. Голоса, доносящегося из детства...

## Книга первая

### Вместо предисловия

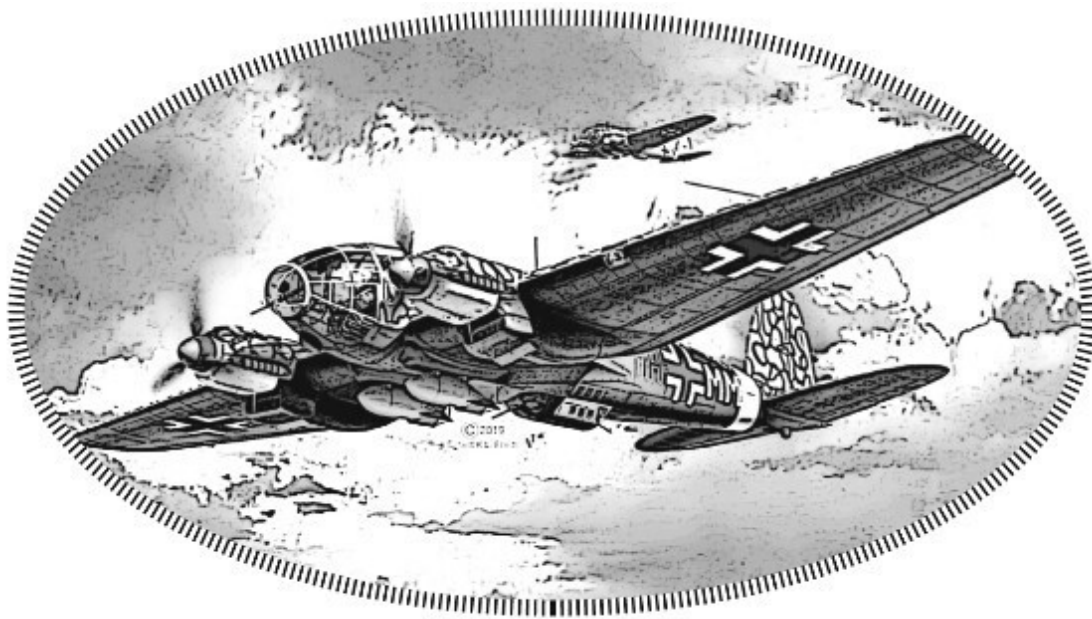
«Поздним вечером 4 ноября 1941 года командир звена 26-го истребительного авиаполка младший лейтенант Алексей Тихонович Севастьянов патрулировал воздушное пространство на подступах к Ленинграду на истребителе И-153. Около десяти вечера начался налет немецкой авиации. Во время авианалета один из бомбардировщиков, “Хейнкель-111”, сумел прорваться сквозь огонь зенитной артиллерии к городу. Расстреляв весь боезапас, Севастьянов принял решение идти на таран и, приблизившись к He-111 сзади, отрубил винтом хвостовое оперение немецкого бомбардировщика. Подбитый “хейнкель” упал в районе Таврического сада. Немецкий пилот, выбросившийся на парашюте, был найден и взят в плен. Сам Севастьянов также сумел покинуть поврежденный самолет и приземлился на парашюте...»

*Из ленинградских газет 1941 года.*



## Глава первая

### Ночной Бой



Тихой тенью скользил питерский подросток Сенька по ночному ноябрьскому городу. Снег ещё не выпал, но было уже зверски, по-зимнему холодно. Великая северная столица застыла в недоуменном ожидании, всё ещё не понимая всей глубины навалившегося на нее ужаса блокады.

Повизгивая от холода и предчувствия серьезной взбучки дома, ибо он чудовищно, непростительно опаздывал, бежал Сенька мимо смутных силуэтов Смольного собора. Путь его лежал от меховой фабрики «Рот-Фронт» домой, на улицу Красной Связи, что в прошлом звалась Виленский переулок.

Остался справа смешной маленький дворец в стиле петровского барокко со смешным названием «Кикины палаты», но невеселой, правда, историей его первого хозяина, адмирал-советника Александра Васильевича Кикина. Царь Пётр много чего прощал друзьям детства, но только не измену.

Жилистый Кикин прожил на колесе почти сутки и серым мартовским утром, когда император проезжал мимо лобного места, смог всё ж таки просипеть на последнем издыхании:

– Вели добить, Государь...

Не поворачивая головы, хмурый Пётр Алексеевич бросил бывшему бомбардиру своего потешного полка: «Не до тебя, иуда, подыхай своим чередом...»

Впереди слева замаячил желтый силуэт Таврического дворца с прилегающей к нему темной громадой сада. Сеньке нужно было срочно принимать стратегическое решение – каким же путем бежать дальше? Вариантов у него, собственно говоря, было раз-два и обчёлся: либо продолжать свой бег по Шпалерной и, добежав до Таврической, повернуть налево, либо рвануть через сад по диагонали. Второй сценарий сулил Сеньке солидный выигрыш во времени – минимум минут пятнадцать, а то и двадцать...

Сад был исхожен им сотни раз: зимой, когда на замерзших прудах кипела каточная жизнь; осенью, когда школьников водили собирать листья и желуди; а особенно летом, когда его

наполняли толпы мальчишек, промышлявших ловлей мальков и головастиков, кишмя кишевших в канавах и прудах. Во все времена хорош был сад, созданный по высочайшему пожеланию и собственному проекту светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина-Таврического и именовавшийся так, соответственно, в его честь. Одержимая страстью к процессу переименовывания новая власть сделала пробную попытку одарить сад новым именем – Трудовой парк. Но истинные петербуржцы, проснувшиеся январским утром двадцать четвертого года уже ленинградцами, продолжали называть сад Таврическим. Тихое упорство населения было непобедимо, и, сделав ещё несколько вялых попыток, власть отступила. А потом и вовсе плюнула. Так сад и остался Таврическим...

Хорош и любим был сад Сенькой. Но сегодня, в тишине ноябрьской ночи, темнота огромного пространства вдруг внезапно испугала его. Остановившись на углу Таврической и Тверской, прямо напротив удивительного витиеватого здания, прозванного «Дом с башней», он с минуту прислушивался к молчанию сада в надежде услышать хоть какие-нибудь обнадеживающие звуки. Уловить хоть какие-то признаки жизни. Но тщетно! Сад, напоенный жизнью при свете дня, безмолвствовал...

Ах, если бы не опаздывал он столь безнадежно! Дал бы сейчас Сенька кругалия по улицам, да и дело с концом. Но, увы, сегодня он превысил все допустимые пределы, и дома уже наверняка сошли с ума от беспокойства...

Клей, клей, клей! Чертов клей, будь он трижды неладен! Чертов авантюрист Лёнька, соблазнивший его проектом варки клеевого студня! Голод ещё не вступил по-настоящему в свое страшное, продлившееся почти два года владычество над Городом. Он только слегка разминал свои костлявые пальцы, сладострастно потягиваясь и предвкушая грядущую забаву. Но и этих первых признаков хватило, чтобы заставить даже самых легкомысленных с нарастающим ужасом задать себе не имеющий ответа вопрос: «Что же мы будем есть завтра?»

Внезапно и неведь откуда появившаяся идея студня из клея вовсю витала в воздухе: из клея обойного, клея столярного, клея костного и мездрового, сиречь желатинового. Весь голодный город просто бредил клеевым студнем. Всё было вроде бы предельно логично: клей, желатин, студень...

Кузен Лёнька клялся, что и видел и даже пробовал божественный продукт, изготовленный из обрезков кожи умельцами из бывшего ремесленного, работавшими на меховой фабрике «Рот-Фронт», что располагалась прямо за Смольным. И изрядно изголодавшийся Сенька, обладавший прекрасным воображением и пятеркой по химии, не заставил себя долго убеждать. С точки зрения научной клеевая авантюра казалась ему абсолютно правильной, ибо желатин есть продукт денатурации коллагена – самого распространенного белка в теле человека и других млекопитающих. Красивое слово «коллаген» и другие познания Сенька почерпнул в методичке по биохимии для студентов фельдшерской школы. Стопка методичек была щедрым подарком ушедшей на фронт соседки. И перед тем как отправить очередную черно-белую брошюрку в жадное чрево буржуйки, Сенька иной раз проглядывал ее содержание. Цитата: «Коллаген – структурный белок, составляющий основной каркас соединительных тканей нашего организма», – неожиданно заинтриговала его...

Оказалось, что кожа, кости, хрящи и сухожилия со связками – вся эта Творцом созданная соединительная ткань, эта формирующая человеческий, да и не только человеческий, костяк база процентов на девяносто и есть чудесный белок коллаген. А молекулы его, свернутые затейливо тройной спиралью, соединяясь в причудливые комбинации волокон и волоконца, дают нам многообразие конструкций различных органов и тканей типа ахиллесова сухожилия или коленного хряща...

«Вот те на!» – думал Сенька – вот и получается: вроде бы варит себе хозяйка новогодний холодец, а по сути производит она термическую экстракцию желатина из телячьих ножек!

Или свиных. Хорошо ещё добавить уши. И хвосты. Копыта тоже пойдут... Или копытца, если теленок... И вообще, все костно-хрящевые части хороши, все...

Их, правда, топором рубить надо, но как же они хороши в холодце! Чудо как хороши! Воспоминания о куриной косточке с хрящиком, который в бывшей жизни иной раз брезгливо отбрасывался, вызывали у него теперь обильное слюноотделение вперемешку с ностальгией о несъеденном...

Двоюродные братья решили объединить усилия: Сенька привносил хорошие руки и навыки начинающего химика, Лёнька – исходное сырьё и производственные помещения. Его отец до ухода на фронт был заведующим мастерской по ремонту обуви при фабрике, и запасной ключ от мастерской открывал кузенам доступ к запасам клея, обрезкам кожи, остаткам мездры и многим другим потенциальным компонентам будущей желатиновой амброзии.

Главное – это правильно наладить процесс, думалось молодым предпринимателям. Воспаленное воображение уже рисовало им густую янтарную массу, несущую сытость и уверенность в завтрашнем дне. Реальность, увы, принесла лишь обожженные пальцы, тошнотворную вонь и разочарование. Теоретически они были на правильном пути, эти братья-клеевары... Но подвели слабое знание коллоидной химии и несовершенная технология.

«The devil, – как говорят в таких случаях англосаксы, – is in the details...» Вообще-то, читатель, это немецкая народная мудрость, но суть ее от этого не меняется: дьявол, действительно, частенько кроется в мелочах...

Гнусно завывала сирена. Похоже, начинался воздушный налет. Выхода не было, и Сенька, тоскливо втянув голову в плечи, выдохнул и протиснулся в темноту небольшой щели между железной решеткой ограды и желтой стеной дворца.

Протоптанная тропинка вела мимо заброшенного туалетного домика, весьма легкомысленного строения в стиле советского барокко, к центральному пруду. Пробежав пару минут, он остановился.

Прямо перед ним, на противоположном берегу, сизым силуэтом возвышалась в холодном ноябрьском ночном воздухе громада Таврического дворца. Построенный светлейшим князем Потёмкиным в пику всему свету, Таврический почему-то всегда странно волновал Сеньку. С той самой минуты, когда взятый домашними на чердак и там приобщенный к таинствам чердачного «бельеразвешивания» впервые увидел он эти сказочные, ни на что не похожие стекла оранжерейной крыши. В волнении прижал он мокрую ещё после стирки наволочку к лицу, и теплый запах свежестиранного белья навсегда вошел в его сознание связанным с хрустальным сиянием Таврического дома-дворца. С тех пор всегда казалось Сеньке, что сокрытая от глаз и ушей непосвященных таинственная жизнь никогда не прекращается за непроницаемыми волшебными окнами...

Вот и сейчас, когда, прервав на мгновенье свой ночной бег, застыл он на небольшом холмике над прудом, вглядываясь в грязно-желтую в ночи громаду, Сенька был готов поклясться, что, как всегда, происходит там какое-то постоянное движение, какая-то вечная возня – ну, что-то вроде театра теней...

Нависая над ноябрьской темной водой, дворец был чем-то сюрреалистическим, совсем не вписывающимся в страшную реальность блокады. Мелко подрагивая от новой, внезапно накатившей волны холода, теперь уже с оттенком сырости и потому особенно непереносимого, как замороженный, смотрел Сенька на лучи прожекторов, которые бесчинствовали, дрожа и пересекаясь в осеннем небе. Иногда, внезапно попадая на многочисленные поверхности оранжерейных стекол, лучи эти отражались самым невероятным образом, как будто были участниками какого-то сложного оптического эксперимента...

«Дифракция и интерференция» – как два тяжелых пузыря, слепленных из сырого серого теста облаков, всплыли из недр его подсознания слова старого учителя физики. Тяжело так всплыли и торжественно лопнули один за другим, с тугим тягучим треском. Сенька понял, что это заговорили зенитки, и поднял голову.

Там, наверху, однако, творилось что-то странное. Прожектора терзали ночное небесное месиво, освещая его изнутри тревожно-желтым светом. В раскатах грома, в отблесках тускло-оранжевого пламени на город многоглавым Горынычем плыла эскадра.

Это было, кстати, ужасно красиво. То есть, и ужасно, и красиво одновременно.

...В кожаной куртке с меховой подкладкой, небрежно поставив аристократически длинные ноги в летных ботинках на педали управления, поздним вечером четвертого числа осеннего месяца ноября командир головного отряда бомбардировочной эскадры «Генерал Вевер», обер-лейтенант Ульрих фон Ротт вел свой «Хейнкель-111» на ночную бомбардировку Ленинграда...

Обтекаемый стеклянный купол бомбардировщика бодро резал сырой балтийский воздух. Кабина пилота, плавно вписанная в обводы фюзеляжа, была для Ульриха персональным рабочим кабинетом последние три года – с того момента, когда барон фон Ротт перешел из авиации истребительной в авиацию бомбардировочную. Приветливое зеленое помаргивание приборов неизменно приводило его в состояние душевного баланса и покоя. А прорывающееся сквозь монотонный шум моторов похрапывание бортстрелка-радиста Ганса Штолце, устроившегося, как в люльке, в подфюзеляжной гондоле с пулеметной установкой, создавало в кабине какую-то атмосферу уюта и комфорта. Ну, прямо как в купе пульмановского вагона поезда дальнего следования.

Четырнадцать тонн металла, стекла, резины и пластмассы вперемишку с двумя тоннами бомбового груза и пятью человеческими телами, затянутыми в кожу и меха комбинезонов, несущиеся на высоте шесть тысяч метров над ночной Балтикой, были победой не только германского инженерного гения, но и тевтонской военной хитрости, ибо одним из условий Версальского подлого договора был полный запрет на военную авиацию в Германии...

Навалившиеся всей своей сопящей европейской тушей победители Первой мировой жестоко и расчетливо отнимали у Германии кусок за куском. Завоеванные в бешеной средневековой грызне земли и воды отошли назад, к вечным соперникам-шакалам: Франции, Бельгии, Польше... Генеральный штаб был распущен, военные академии и училища закрыты. Любое производство и приобретение оружия запрещено. Запрещена была даже посылка военных миссий за рубеж. И тридцать три миллиарда долларов – выплата репараций!

– «Позор!.. Was für eine Schande, meine Herren!» – глаза старого барона Готфрида фон Ротта 11-го, обычно бледно-голубые, как блеклое прусское небо, опасно краснели, наливаясь дурной капиллярной кровью.

В эти драматические минуты двенадцатилетний Ульрих с интересом юного натуралиста наблюдал за внезапными и потому особенно драматичными изменениями в дедовском лице.

– Вудро хренов Вильсон! – багровея, барон становился похожим на некоторые иллюстрации из десяти томного антикварного издания «Жизнь животных» Брема, которым Ульрих фон Ротт зачитывался в отроческом возрасте. Особенно томом третьим, охватывающим орнитологию.

Всё связанное с полетами стало волновать Ульриха с того момента, когда его отец, барон Рихард фон Ротт, «весело перешел в небытие», рухнув в своем горящем «фок-кере» в цветущую лаванду пикардийских холмов. Сбитый английским асом ясным апрельским утром 1918 года отец остался в памяти Ульриха запахом машинного масла, кожи и кельнской воды на

белом шелке летного шарфа. Он очень хорошо помнил крепкие холеные руки, бережно держащие трехлетнего его. Выпуклые светлые глаза. Мощные челюсти в оскале улыбки. А вокруг – отцовские друзья – совсем молодые немецкие лица, уже успевшие загореть на раннем весеннем солнце, светлоглазые, улыбающиеся своей молодости, с тростями и шарфами, сами ещё почти дети, но уже «герои и очаровательные франты»...

Первые и последние рыцари тогда совсем ещё юной своей прекрасной дамы – Авиации.

Внезапное изменение обертонов храпа бортстрелка-радиста отвлекли Ульриха от воспоминаний. Славный баварец Ганс, заворочавшись на специальном матрасике, расстеленном на стеклянном дне подфюзеляжной гондолы, как-то особенно лихо всхрапнул и ещё крепче обнял пулемет калибра 7,92 мм – стандартный боекомплект для «Хейнкеля-111».

«Да, многое изменилось в воздушной войне с тех пасторальных времен!» – пофилософствовал про себя Ульрих, невольно вспоминая моменты, когда обычно добродушный Ганс начинал увлеченно крошить бегущую внизу людскую массу из своего крупнокалиберного «дружка», рыцарством тут, пожалуй, и не пахнет...

Генерал Вальтер Вевер, имя которого носила четвертая бомбардировочная эскадра, неуклонно несущаяся к блокадному Ленинграду, был первым начальником штаба Люфтваффе. Он попал в министерство ВВС Германии в 1933 году совершенно случайно. Блестящий армейский офицер, он не имел никакого опыта войны в воздухе, но вынашивал идею стратегических бомбардировок с мрачной убежденностью пехотинца, на своей шкуре испытывавшего всю мощь и ужас бомбовых атак с воздуха во времена Первой мировой...

Однажды, жуткой осенней ночью, на глазах Вевера, тогда ещё совсем молодого лейтенанта, российский тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец» превратил в пыль четыре казармы в глубоком германском тылу, сбросив всего две бомбы. Чудовищной, правда, мощности по тем временам: четыреста с гаком килограммов каждая...

С той памятной ночи и навсегда его идеей фикс стала дальнобойная пикирующая авиация. Парадокс, но он погиб в авиакатастрофе, этот пехотный начальник штаба Военно-воздушных сил Третьего рейха. И его детище – программа по созданию «Ural-Bomber» – мощного тяжелого superbомбардировщика, способного нести огромный бомбовый груз от Берлина до Урала, была закрыта, ибо большинство лидеров Военно-воздушных сил рейха были летчики-истребители, асы Первой мировой. И мысль о том, что тяжелый бомбовоз может стать элитой германской военной авиации, была для них тогда так же противоестественна, как и нелепа.

А вот построй тогда Германия «Ural-Bomber», кто знает, как бы оно всё закончилось...

И тем не менее «Хейнкель-111», эта рабочая лошадь Люфтваффе, на которой Ульрих вот уже три года бомбил города Европы, был создан. «Хейнкель» начали проектировать как двухмоторный бомбардировщик в 1934-м. Втихаря, естественно, так как версальские ограничения всё ещё висели над Германией. Инженеры-проектировщики весьма искусно делали вид, что разрабатывают скоростной транспортный самолет. Ничего военного. Картошку возить и абсолютно мирных немецких граждан. В общем, немецкая гражданская авиация. Желтый журавлик в голубом германском небе. Одним словом – Люфтганза...

Первый пробный вылет был совершен в 1935 году, а уже через два года рабочая модель была на вооружении легиона «Кондор», а это, читатель, уже Люфтваффе. Два мотора по восемьсот лошадиных сил каждый, три пулемета на борту и боезапас весом в две тонны. Такая вот метаморфоза. На журавля уже не похоже, скорее, реальный кондор...

...Видел ли ты, читатель, полотно Пабло Пикассо «Герника»? Наверняка видел, а если нет, посмотри любопытства ради. Мировой шедевр. Герника – это городок такой, совсем небольшой, на севере Испании. Всего-то шесть тысяч населения. 26-го апреля 1937 года легион «Кондор» три часа с садистским упорством бомбил несчастный городок... Ох как тут наши «хейнкеля»-то пригодились! Поработали на славу. Трети населения – как не бывало. После налета горела Герника ещё трое суток...

Гражданская война в Испании стала для Ульриха, равно как и для всего люфтваффовского молодняка, прекрасным полигоном. Им был дан полный карт-бланш на импровизацию. И отработанные в «безоблачном небе» Испании атаки авиазвеньев по типу воздушной «тевтонской свиньи» и всяческие тактические трюки, в особенности многочисленные вариации на тему бомбометания с пикированием, позволили Люфтваффе добиться удивительных успехов во время европейского блицкрига. Но с Россией получалось как-то иначе.

В России немцы познали Его Величество – Таран...

Дракон многоглав. Его бурая туша испещрена зловещими знаками свастик, как лицо маорийского вождя ритуальными татуировками каннибала. Страшных лап не видно, они поджаты под выпуклым брюхом. Крылья мощно расправлены. Под крыльями спрятана смерть. Тысяча килограмм смерти под каждым крылом. Смерть облечена в гладкую обтекаемую металлическую оболочку. У нее маленький, элегантный забавный хвостик для придания особых аэродинамических свойств. Ах, как азартно мчится смерть зловеще-жужжащим роем вниз! Как задорно и жизнерадостно тараторят на ходу члены веселой этой ватаги: «А вы знаете, мой корпус вытачивал сам мастер Дрехер! Он – лучший мастер во всей Тюрингии! А мой стабилизатор мастерил сам мастер Шлоссер! Он – лучший слесарь во всей Нижней Саксонии!» Беззаботно болтая и бахвалясь, выбирает страшная стая в своем неумолимом падении, как же ей позабавней исполнить свой жуткий долг на этот раз. Можно просто ударить в крышу и зажечь ее, превращая человеческое жилище в веселый костер. Можно стальной иглой прошить дом до первого этажа или, ещё лучше, до подвала, и взорваться там, разрушая эту многоэтажную жардиньерку, как карточный домик. А если любишь вид и запах крови, можно рухнуть прямо в людскую толпу, превращая ее в ревущую от ужаса и боли биомассу.

Способов много. Выбирай любой. Дракон любит вас всех.

Подслеповато поблескивая глазками фюзеляжных стекол, он неумолимо плывет в оранжевом облаке, изредка, как бы лениво изрыгая огненные брызги пулеметных струй. И жалкие в своих тщетных попытках хлопки зенитных орудий не могут остановить его страшное движение под надрывающий душу триумфальный марш стонущих от радости убийства моторов.

«Ах, как же всё это страшно красиво, – затаив дыхание думал Сенька, завороченно глядя в небо, – то есть и страшно и красиво одновременно... Как же это может быть?» Но тут его размышления на тему этой небесной феерии были внезапно прерваны одним действующим лицом. Как чертик из табакерки, из мутной тьмы ленинградского неба на пойманную прожекторами громаду «хейнкеля» выскочил маленький самолетик и весело засеребрился в лучах дружелюбных прожекторов.

Его «курносый» силуэт узнавали все ленинградцы. Это был И-153 – истребитель конструкции Поликарпова, основной тип советского истребителя начала войны, любовно прозванный в народе «Чайкой».

Пилот самолетика, младший лейтенант 26-го авиационного истребительного полка Алеша Севастьянов, к тому моменту уже отстрелял весь боезапас и теперь, зависнув над ярко освещенной прожекторами тушей «хейнкеля», судорожно соображал, что же делать дальше.

Его появление в непосредственной близости вызвало у команды бомбардировщика легкое оживление, но не более.

Сквозь стекло слегка подсвеченной изнутри зеленым светом приборов кабины Алеша сумел разглядеть красивое лицо пилота, смотревшего на него с интересом энтомолога, увидевшего редкий подвид чешуйчатокрылого насекомого. Потом лицо скривилось в холодной гримасе улыбки и что-то сказала. В тот же момент за стеклом гондолы появилась весьма объемистая харя стрелка-радиста и сделала губами и пальцами «пуф-пуф». После чего харя расплылась в улыбке, отчего стала ещё шире, и начала медленно разворачивать свой ствол в его сторону. Пилот же надменно кивнул, отдал ему полусутоливо честь и отвернулся, всем своим видом как бы показывая, что русского для него больше не существует.

– Ну ты и сука! – возмутился Леша и, тормознув, пропуская под собой внушительную машину «хейнкеля», врубился винтом в его хвостовое оперение...

Открыв рот, Сенька смотрел, как самолеты, сцепившись вместе, летели так несколько секунд в фантазмагорическом па воздушного ночного танго. Потом малыш И-153 отвалил в темноту, как пресытившийся партнер, а тяжелый огромный «хейнкель» растерянно клюнул стеклянным носом и очень-очень медленно, но неуклонно начал свой последний путь к холодной ленинградской земле. Его моторы уже не ревели, а жалобно и заунывно выли. Сеньке на секунду даже послышалось, что моторы не просто воют, а издают какой-то собачий то ли вой, то ли визг. Он потряс головой, отгоняя слуховую галлюцинацию и вдруг краем глаза заметил собаку, вернее, собачку. Маленькую элегантную, светлой масти собачку, стоявшую шагах в двадцати от него, на небольшом плавно возвышавшемся холмике.

Собачка внимательно посмотрела на Сеньку, подняла мордочку к небу и издала странный звук – действительно, нечто среднее между визгом и воем. Это было чудом! Встретить животное в блокадном городе было практически невозможно. Ну, разве что крыс, которых пока ещё не ели. Сенькино сердце тяжело застучало.

– Кис, кис, – сказал он внезапно осипшим голосом, – иди сюда, собаченька...

Собака дружелюбно вильнула хвостом и переступила лапками на месте, но к Сеньке не пошла. Совесть ещё пыталась своими слабыми уколами пробудить в нем что-то типа милосердия, но рот был уже напоен вязкой слюной, и в животе глухо бурчало.

– Иди сюда, маленькая, – ненавидя подлость своего голоса, пропел он, сглатывая.

Но собачка не шла. Переминалась на месте и смотрела на него умными маслинками глаз. И тогда Сенька, почему-то на корточках, стал медленно подбираться к ней, протягивая руки открытыми ладонями вверх, ибо теоретически знал, что собакам надо в первую очередь показать, что в руках у тебя ничего опасного нет, и ты не причинишь им вреда. Когда он достиг вершины холма, собачка, отступив шаг назад, подняла мордочку и завывала. Теперь уже по-настоящему, в голос. И тотчас жуткий хор завывал ей в ответ. Цепenea от ужаса, Сенька поднялся во весь рост и увидел по другую сторону холма притаившуюся в канаве стаю.

Их было семь или восемь. Они были разных пород и размеров. Но их объединяло одно – они более не были «другом человека». И он, человек, более не был их другом. И хозяином. Он был добычей. Брошенные на произвол судьбы в блокадном городе, они выжили и познали вкус человеческой плоти. Сначала вкус неприбранных покойников на улицах и в брошенных квартирах. Потом стариков и детей, имевших неосторожность в одиночку пойти через сад. Так человек из хозяина и друга стал едой...

Сенька в жалкой мольбе посмотрел на белую собачку – виновницу происходящего – и натолкнулся на смеющийся взгляд ее странных темных глаз. Он был готов поклясться, что она ухмылялась совсем по-человечески... Да нет, не может быть, – подумалось ему, и сделалось уже совсем страшно, – пожалуй, глядела-то она как-то «не по-человечески»...



– Ну, что? – как бы говорил этот взгляд, – сожрать меня хотел, дружище? А теперь будешь сожран сам! Так что уж – уволь...

Карликовая итальянская борзая по кличке Изида, известная также как левретка, была счастливейшим из псовых в Смольнинском районе города Ленинграда до 4 октября 1941 года. В тот день ее хозяйка Лиля Комарова, жена главного инженера ленинградского завода «Штурманские приборы», уезжала в эвакуацию. Изиду, по-простому Изю, как и других домашних питомцев, брать с собой не разрешили.

Утром, перед отъездом, Лиля вывела ее в сад и спустила с поводка. Когда эйфория бесповодочной жизни улеглась, набегавшаяся всласть Изя нагнала торопливо уходящую Лилю почти у самого выхода, и той пришлось опять отвести ее вглубь сада. Так повторялось три раза, а на четвертый Лиля привязала ее к скамейке и, не поворачиваясь, убежала, вздрагивая плечами. Глядя на эти плечи, Изида всё поняла. Она перегрызла проводок, подняла мордочку к небу и прокляла хозяйку. Как, впрочем, прокляла затем и всех людей, встретившихся ей в этот черный день ее жизни. Всех, покушавшихся на ее тщедушную тушку, ибо, увы, только это, только ее гастрономически сомнительная плоть и привлекала приседающих перед ней на корточки людей с умильными мордами и лживым взглядом голодных глаз.

Поезд с Комаровыми разбомбили под Любанью, другие, возжаждавшие изидинова тела, закончили тоже, в общем, как-то не очень хорошо. Кроме старика, одиноко мерзнувшего на скамейке, в выпцветших глазах которого она увидела отсвет уже приближающегося небытия. Он протянул ей ладонь, покрытую хлебными крошками, и, пока Изида в упоении лизала эту увядшую ладонь, ласкал ее, словно пытался напоследок напитать себя теплом остающейся жизни. Когда потом она привела к скамейке свою сверкающую голодными глазами и клыками новую семью, старик всё понял и не осудил левретку. Она же отблагодарила его по-царски, подарив быструю смерть. Желтые клыки жоака разорвали сонную артерию за считанные секунды, и пока старик с профилем Плиния тихо не истек кровью, никто не посмел его тронуть. Таков был ее приказ. Приказ царицы. Царицы Изиды...

Это странное имя дала ей Лиля. И не просто так. Эмилия Борисовна была помешана на мистике и владела внушительной библиотекой, доставшейся ей в наследство от бабушки «из бывших» – большой поклонницы Елены Петровны Блаватской.

Инженер Комаров тихо трусил, но любил свою, увы, бездетную Лилю бесконечно и потакал ей во всем. Эмилия Борисовна долго не могла смириться со своей судьбой и пускалась во все тяжкие в попытке обрести материнство. Книгу Блаватской «Разоблаченная Изида», изданную в 1877 году, она держала постоянно на тумбочке рядом с кроватью. По рассказам бабки – это был первый тираж в тысячу экземпляров, распроданный в течение двух дней. На титульной странице было написано: «Автор посвящает это произведение Теософскому обществу, основанному для изучения предмета оккультных наук и истории их развития, кои и рассмотрены в этой книге». Далее, на 670 страницах один из величайших мистиков современности Блаватская излагала свои соображения о природе и происхождении магии, религии и разнообразных эзотерических учений. Тех тайных учений, природа которых хотя и «весьма сомнительна, но чрезвычайно обольстительна» для нас смертных, ибо дает утвердительные ответы на многие мучающие нас вопросы.

Бабка, не раз бывавшая на сеансах Елены Петровны, вспоминала интереснейшие вещи. По ее рассказам, Блаватская порой как бы одалживала свое тело группе адептов, а сама переходила к другой деятельности, но уже в другом теле, в астральном...

«Злоупотребление сокровенным знанием есть колдовство; применение во благо – истинная магия», – повторяла бабушка слова самой Блаватской. Всё это было безумно, безумно

интересно. Но после тридцати Лилю стал мучить совсем другой вопрос, почему же у нее нет детей.

Она знала почти всех богинь плодородия всех времен и народов древности: Иштар, Истар, Астарта, Ашер, Ашерат, Ашера, Аштарт, Аштерат, Ашерах, Атаргатис, Ашторет, Ашторот, Аштерт, Ануит, Ану, Анат, Нана, Инана, Астар, Исдар, Эстер, Тара и, наконец, Изида. Та самая Изида – известная под многими именами... Астральное божество Месопотамии, Аккадского царства, Вавилона и Шумера, Египта, Иудеи и даже Греции. Дочь Эля, супруга Баала, а у древних семитов и самого Яхве!

Голова у Лили шла кругом, когда она пыталась своим умом тридцатилетней «эмансипе» начала двадцатого века, пережившей несколько революций, включая революцию сексуальную, скорее всего и одарившую ее бесплодием, понять, каким же образом Астарта – богиня утренней зари – была превращена патриархами в двуполого монстра и даже трансформирована, не к ночи будет сказано, в самого падшего ангела Люцифера...

Отрываясь от текста, Лили смотрела безумными от бессонных ночей над книгами глазами на мужа и спрашивала:

– Ты хоть что-нибудь понимаешь, Боря?

Но спрашивать, скорее всего, нужно было не у продавшего с детства душу формулам и цифрам, а потом перепродавшего ее строителям светлого будущего всего человечества главного инженера завода «Штурманские приборы» Бориса Васильевича Комарова. Увы, у урожденного раба Божия Борислава ответов на такие вопросы не было...

Ответ Лили, возможно, могла бы получить из другого, более компетентного источника. Изида, постоянно присутствующая при чтении всей этой разнообразной эзотерики, пристально и неотрывно следила за своей хозяйкой. Вернее, за той, которая считала себя ее хозяйкой. Изредка встречаясь взглядом с Лилей, она тут же прикрывала веки, чтобы не выдать себя случайно «сиянием неуголенных глаз». Инженер Комаров, иной раз чувствуя себя весьма неудобно под ее тяжелым взглядом, начинал мельтешить и заискивать в надежде задобрить псинку. Но тщетно. Изида презирала инженера. Она любила Лилю. Лилит, как ласково называла она ее про себя. Имя это мало что говорит человеку непосвященному, а посвященному говорит, наверное, слишком много...

Лилит – та самая первая жена Адама, покинувшая его, упоминается и в каббалистической Книге Зогар, и в свитках Мертвого моря, и в некоторых ранних апокрифах – как Нового, так и Ветхого Заветов, не вошедших в библейский канон. Три ангела были посланы Создателем вдогонку. Они настигли беглянку на краю света, но Лилит не пожелала вернуться к мужу, так как считала себя таким же Его творением, как и Адам. А может, и более совершенным... В наказание она была превращена в бесплодного демона, убийцу новорожденных, а также...

А, впрочем, читатель, почитай-ка ты сам, только не на ночь глядя, особенно если не женат... Апокрифы эти, хотя и являются запрещенными для чтения в церкви, но всё же всю читаемы, и дают нам кое-какие намеки и мысли.

В общем, не оставь Эмилия Борисовна свою левретку в тот злополучный день в саду, быть может, и получила бы ответ на свой вопрос. И, быть может, не один. Кто знает... кто знает... Ведь не просто же так назвала она ее Изидой...

Изида переступила лапками на месте и тяжело, со значением, посмотрела на мальчишку, давая ему понять, что время, отведенное на прощание с жизнью, истекло. Станный был этот взгляд, странный, совсем не собачий...

Потом раздался надрывающий душу вой. Как будто завывла разом вся стая. Сенька опустился на землю и закрыл глаза руками. Вой нарастал. Потом гигантская тень падающего бомбардировщика накрыла и Сеньку, и собак, и, казалось, весь сад.

Страшный удар сотряс землю...

## Глава вторая

### Удивительная встреча в саду



Когда Сенька пришел в себя, страшных собак не было.

В холодном небе ярко горели звезды. На земле лежал снег, и в морозном, теперь уже точно по-зимнему, воздухе слышались голоса. Разговаривали двое.

– А скажи мне, любезный надворный советник, столь ревниво различающий плотское и божественное: наслаждение, получаемое от расчесывания, ну, скажем, укуса блохи, – говорил звучный властный голос, – это просто скотское наслаждение и ничего более?

Две фигуры неспешно шли по садовой дорожке, приближаясь к Сеньке, сидевшему на земле, изумленно раскрывши рот, и тщетно пытавшемуся понять, что же, собственно, произошло... Ибо каким-то необъяснимым образом он вдруг оказался непонятно где, в снегу, за стеной довольно густого ухоженного кустарника, обрамляющего расчищенную и утопанную дорожку.

Задавший этот странный вопрос был поистине исполинского роста мужчина в накинутах на плечи енотовой шубе, без шапки, с копной взъерошенных волос. Он почти на голову возвышался над своим собеседником, человеком тоже немалого роста и плотного телосложения, одетого довольно странно, а на голове имевшего весьма внушительных размеров головной убор явно мехового происхождения. Непонятно, правда, из меха какого именно зверя.

– Светлейший, – вздохнув, отвечал названный «надворным советником» обладатель меховой шапки, – вы ведь и сами знаете ответ на свой вопрос. Голос его, хоть и твердый и преисполненный уверенности, был тихим и как бы печальным. К тому же он говорил с заметным акцентом, а слово «вопрос» произнес весьма картаво.

– Не увиливай, Цейтлин, не увиливай, вишь взял манеру, – с ленивой строгостью отозвался названный «светлейшим», – мне мнение твое чрезвычайно важно, ты же знаешь... Отвечай же. – И, не удержавшись, передразнил картаво, – «на мой вопрос».

Получилось настолько смешно и похоже, что Сенька, не выдержав, гоготнул во весь голос и тут же сжался от ужаса. Но реакции на его смех не последовало никакой, хотя собеседники стояли практически вплотную к нему, отделенные лишь кустами. Усиленный морозным воз-

духом, его ноздри резанул весьма причудливый запах. Вернее сказать, смесь запахов... Одеколон или какие-то духи, в общем, парфюмерия, пот конский и человеческий, водка и еда... Да, именно давно забытый «сытный» дух какой-то выпечки ошеломил его более всего.

Судорожно вытянув шею в попытке обнаружить источник волшебного запаха, Сенька чуть было не уткнулся носом в поднос, вернее сказать лоток, груженный горячими пирогами. Огромный лоток-поднос, сделанный из дерева, несмотря на его размеры и очевидную тяжесть, держал, практически на вытянутых руках, одетый гайдук-гигант, стоявший в темноте на два шага позади собеседников. Второй гигант, под стать первому, держал серебряный поднос, тоже весьма внушительных размеров, с тускло поблескивающими бутылками, графином и многочисленными чарками и бокалами.

«Как это они такую тяжесть держат? – подумалось Сеньке, – эх, стянуть бы пирожок...»

– Пётр Ефимыч, налей-ка господину надворному советнику горилки для освежения мозговой субстанции, – обратился Светлейший к кому-то невидимому, – а то он как-то сник на морозе.

Третий исполин бесшумно шагнул из темноты, извлек откуда-то огниво с трутницей, не торопясь зажег свечу, взял с подноса граненую чарку, ловко наполнил ее из хрустального штофа и с поклоном поднес тому, кого называли «господин надворный советник».

– Пей, Цейтлин! – произнес Светлейший с чувством, – впрочем, стой, дай и я с тобой выпью. Пётр Ефимыч, наливай и мне чарку, ибо грех не выпить в такую ночь на морозе, под звездами! Да и пирожка нам отрежь, горяченького с требухой для меня и с капустою – для господина советника. И ехидно добавил: – Требуху-то он у нас как-то не очень жалуется, похоже, боится, что я ему чегой-то некошерное всё ж таки скормлю...

– Григорий Александрович, – укоризненно прокартавил человек, называвшийся Цейтлиным, – ну, опять вы! – Да, ладно тебе! – отмахнулся светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический, – давай выпьем... Как ты меня учил? Лехаим, Цейтлин, дорогой.

При свете свечи единственный глаз его, огромный и голубой, с печальной строгостью посмотрел, как показалось Сеньке, прямо на него. Отчего ему тотчас стало очень неуютно.

«Это куда же я попал? – подумал он с тревогой. Маскарад какой-то! И одежда, и разговоры, всё какое-то странное... Как будто из пьесы о прошлом». Особенно поразило его огниво огромного гайдука Петра Ефимыча, – прямо как из сказки Андерсена...

Но на самом деле Светлейший смотрел вовсе не на Сеньку, а куда-то в темноту Таврического сада, где ему почудилось некое движение:

– Смотри-ка, – внезапно оживился он, – собачка в кустах сидит, и вроде как породистая... На левретку похожа! Только откуда же здесь левретке-то взяться? Пётр Ефимыч, ну-ка, излови!

Поймать весьма потрясенную происшедшим Изиду было делом пары секунд. Обреченно повиснув в вытянутых руках Светлейшего, она тем не менее пытливо вглядывалась в его незрячий глаз, стараясь осознать смысл происходящего, равно как и проникнуть в суть этого, тревожащего ее, необычно большого человеческого существа.

– Сучка, – весело объявил Потёмкин, бесперемонно обследовав ее гениталии. – И точно, что левретка, я таких у государыни насмотрелся. Помнишь, Цейтлин, врача английского, барона Димсдейла, того, кто первый при дворе против оспы прививки стал делать? Так ведь это же он матушке императрице целую семью левреточную в подарок прислал, из Англии. Их там сейчас всюю разводят. Впрочем, как и по всей Европе. В моде они нынче, хотя это, брат Цейтлин, древняя египетская порода. Дворцовая собака фараонов. Легенды ходят, что Цезарь привез в Рим двух щенков, подарок Клеопатры. И от них-то, вроде как, и пошла итальянская ветвь карликовых борзых, сиречь левреток. Это уж французы их так прозвали – левретки...

– Да, – тихо отозвался Цейтлин, – «игрушка ветра».

– И все-то ты знаешь, противно даже, – притворно проворчал Потёмкин, и перенес свое внимание на по-прежнему непрерывно подрагивающий в его руках от всего происходящего предмет дискуссии.

– Да как же ты сюда попала, собаченция, а? Жрать хочешь? Кушинькать? Ням-ням? На, жуй...

Из всего потока информации для Изиды это были ключевые слова – жрать, жевать, есть, кушать, не важно... Важно – это то, что можно рвать зубами и глотать, глотать, глотать что-то теплое, съестное, пахнущее жизнью...

И пока она судорожно, без разбора заполняла всё свое существо этим теплым мясным куском пирога, вызывая у затаившегося в кустах Сеньки приступ чудовищной зависти, Светлейший не замедлил продолжить свой монолог о природе наслаждений, ибо тема эта волновала его не на шутку. Можно сказать – профессионально. Но об этом чуть позже.

Поглаживаядвигающиеся в ритме глотков собачьи лопатки, он изрек:

– Гляди же, как дрожит от восторга насыщения вся ее плоть! Я уверяю тебя, Цейтлин, что ощущения, которые сейчас испытывает это существо, сопоставимы с экстазом какого-нибудь дикаря-язычника, воздающего хвалебные молитвы своим нечистым богам.

При этих словах словно судорога прошла по собачьему телу. Оторвавшись от процесса поглощения, Изида повернулась и пристально посмотрела прямо в глаза Светлейшему.

– Ты чего? – удивился он этому взгляду, – уже наелась? Умные черти, эти левретки, слишком даже умные, на мой взгляд... только чего же она такая малипусенькая, или, может, щенок еще? А глаза, однако, странные, какие-то не собачьи... подарю-ка я тебя Матушке – она страсть как любит всякую живность.

– Поверишь ли, Цейтлин, всё никак левретку свою любимую забыть не может, а ведь, почитай, уже лет шесть, как померла Земира ее! Ты ведь графа Луи де Сегюра помнишь, посла французского? Ах, какую же он ей, Земире этой, тогда эпитафию сложил! Что-то вроде: «Она была легка на бегу и имела только один недостаток: была немножко сердита, но сердце ее было доброе. Боги должны были наградить ее за верность бессмертием, чтобы она могла находиться неотлучно при своей повелительнице...» Подхалимаж, конечно же, но душу греет. Жаль, что уехал француз, – элегантный был человечек, веселый...

– Да успокойся ты уже! – последние слова были адресованы Изиде, которая, внимательно выслушав эпитафию, вдруг устремила умную мордочку к ночному небу и, похоже, приготовилась повыть в голос.

– Тебя как зовут, псина? Хочешь, будешь Земира Вторая? Во дворце будешь жить, с императрицей всея Руси... Хочешь? Соглашайся, псытина! Имя, конечно же, престранное, но, похоже, что и ты не шибко проста, – абсолютно серьезно обратился Светлейший к своей находке. – Постой, Цейтлин, а ты ведь был тогда на премьере оперы этой, «Земира и Азор»? А? В Смольном институте? Я что-то запамятовал... Граф Зорич, что познакомил нас, он-то точно на премьере сей оперы был, я его как раз тем летом во флигель-адъютанты матушки-императрицы продавливал...

– Нет, Светлейший, – тихо отвечал надворный советник, – я ещё не имел чести быть вам представленным.

– Ты прав, конечно же, брат Цейтлин. Да тебя там и не могло быть. Я всё вспомнил: Зорич нас познакомил гораздо позже, когда он, дурак, уже в Шклов выдворен был, – желчно произнес Светлейший. – Ах, какая же это была превосходная премьера оперы сей, «Земиры и Азора», тогда, в Смольном институте, Цейтлин! – его лицо внезапно просветлело в улыбке.

Отчего, как показалось наблюдавшему за ним из кустов Сеньке, Светлейший моментально сделался удивительно привлекательным и даже как-то помолодел...

– Ты представляешь, я даже девицу, которая страшное мохнатое чудище «Азора» – принца заколдованного – играла, прекрасно помню. Помню, когда розу волшебную сорвали,

чары рассеялись, она маску уродливую сняла и так разрыдалась, бедная... Очевидно, от полноты чувств. Некрасивая такая, смугленькая, личико мальчиковое, но очень живенькая. Матушка ее тогда обняла и, чтобы рассмешить актрисочку милую и утешить, влет ей эту фразу и сказанула: «А роза упала на лапу Азора»... По-моему, гениально. Нет, ты только подумай, Цейтлин, она хоть и учит русский с 15 лет, но всё ж таки не родной язык...

– Это ведь палиндром, фраза-перевертыш, Григорий Александрович, – как всегда тихо, но на этот раз более твердо сказал надворный советник, – тут ведь не обязательно быть носителем языка, а даже наоборот, инородец может видеть в палиндроме не столь смысловое значение, сколь иное, цифровое, к примеру, или просто набор звуков.

– Па-лин-дром, – протянул Потёмкин, – а ты, похоже, прав. Палиндромы она и распознает, и сама сочиняет лихо. А фамилию актрисы той я вспомнил, ты только не подумай, Цейтлин, что я забыл... Хрущёва ее фамилия! Левицкий ещё портрет ее написал, вернее, картину... Висит, кажется, в Куропаточной гостиной в Петергофском дворце. Они там с другой «смолянкой» сцену смешную разыгрывают. Полотно сие было написано по заказу императрицы, а на самом-то деле, думаю, по просьбе самого графа Бецкого...

«Что же это за гостиная такая?» – озадаченно подумал Сенька, забыв на секунду про «сытный» запах, беспощадно терзавший его ноздри. Целый довоенный год отходил Сенька в школьный кружок по искусству, где их основательно поводили по главным коллекциям Ленинграда. И, кстати, картина художника Левицкого из серии «Смолянки», про которую говорил Светлейший, – там, где две девочки, две Катеньки – Хрущёва и Хованская – разыгрывают сцену из комической оперы «Капризы любви», была ему хорошо знакома. Экскурсовод, долговязый дядечка в дореволюционном пенсне, долго про нее рассказывал, и про графа Бецкого, основателя Смольного института, точно, упоминал... И про архитектора Кваренги говорил, и про архитектурные особенности здания, построенного им для Смольного института благородных девиц. Правда, потом почему-то оглянулся по сторонам и громко, пожалуй, слишком громко добавил, да так, чтобы было слышно на весь зал: «Только сейчас там не кисейные барышни пьесы разыгрывают, а работает Ленинградский Городской совет депутатов трудящихся. На благо нашего города!» И с полуминуты потом посматривал по сторонам, вроде как пытаясь понять, а все ли его услышали...

«Ошибается этот самый “Светлейший”, определенно ошибается, – старясь не слушать, как Изида хрустит очередным куском пирога, похоже, с чем-то мясным, – дискутировал сам с собой Сенька, – а находится этот шедевр мирового искусства точно в Государственном Русском музее, а не в какой-то там никому не известной “Куропаточной” гостиной! Это каждый ленинградский школьник знает».

«Постойте! – внезапно подумал он, – а ведь и Кваренги, и Бецкой, и художник Левицкий... Они ведь все жили в восемнадцатом веке! Да где же это я, в конце-то концов? И откуда у них здесь столько еды?»

От этих мыслей Сеньке стало как-то совсем не по себе... На процессе слюноотделения это, правда, не отразилось. И время от времени непроизвольно сглатывая, он стал с удвоенным вниманием вслушиваться в разговор одноглазого «Светлейшего» с бородатым надворным советником Цейтлиным, пытаясь хоть что-то понять в их странных речах...

– Граф Иван Иванович Бецкой в своих смолянках-воспитанницах души не чает, равно как и в искусстве изобразительном. Академией художеств мы ведь ему обязаны. Я слышал, слепнет старик. А как был хорош! Ах! Шведская кровь, смешанная с Трубецкой породой. Какое прекрасное сочетание, Цейтлин! Все-таки дозированное перемешивание крови дает удивительные результаты. Если правильно мешать, конечно же... Ты согласен?

– Шведская кровь? – переспросил Цейтлин.



– Ровно половина. Он же в Стокгольме рожден – наш Иван Иванович Бецкой баронессой шведской. Тьфу ты, и впрямь в рифму, хоть и не «комильфо», конечно же, – поморщился Потёмкин, – но, вообще-то, тут преинтереснейшая история, Цейтлин, как – нибудь на досуге расскажу. А ты что, не слышал разве песенку про него? Вот, питерские злые языки сочинили:

Иван Иванович Бецкий —  
Человек немецкий.  
Носит парик шведский...

– Я к чему о нем, о Бецком-то, вспомнил? Всё из-за оперы этой, «Земира и Азор», из-за премьеры той памятной в Смольном. Ты ведь не подумай, Цейтлин, я совсем не забыл, просто отвлекся, – со значением произнес Потёмкин, который всю жизнь упражнялся в привычке постоянно отслеживать ход мыслей, как своих, так и собеседника.

Но надо отметить, читатель, что в последнее время Светлейшего стали обуревать совершенно панические опасения о возможной потере памяти. Князь был великий ипохондрик, и мнительность его не знала пределов. Причин, правда, для мнительности сей было немало. Не у него конкретно, тьфу-тьфу-тьфу, а у общества вообще. Век-то стоял на дворе веселый, восемнадцатый... Спирохету в крови научатся определять лишь лет через сто двадцать, а тем временем в «удовольствиях телесных» народ себе не отказывал. Ну и понятно, частенько через это дело сухоткой сифилитической страдал-с. С прогрессирующей, как это водится, потерей памяти...

– Так вот, – Потёмкин прищелкнул пальцами, – возвращаясь к вышеупомянутой опере. В то лето король Густав Третий, кузен наш шведский, напросился к матушке-императрице в гости. Как раз под годовщину Полтавской битвы, в июне. Привез, каналья, Катеньке в подарок подвеску дорожную – «Рубин Цезаря». Это при его-то скандинавской скупости. Представляешь, Цейтлин? На самом же деле и не рубин это был вовсе, а очень редкий турмалин, но всё равно изумительно хорош! Подвеска сия была сделана в виде грозди виноградной. Ну, надо было развлекать кузена как-то – а он у нас меломан! Матерый меломанище, почище меня! Вот опера сия, «Земира и Азор», и сгодилась. Гремела она тогда по всей Европе. Музыка Гретри слабовата конечно, а вот либретто француз Мармонтель классное написал! Сказочное! А граф Бецкой в Смольном институте с актерками своими замечательными ее и поставил... И вот те на!

На этой ноте Светлейший совершенно неожиданно гомерически расхохотался, выпустив густые клубы пара изо рта на морозном воздухе, к величайшему неудовольствию Изиды и удивлению надворного советника. Бесцеремонно перебросив левретку на плечо, Потёмкин хлопнул собеседника по спине, подняв при этом облачко снежной пыли, и пояснил причину своего веселья:

– Ты прикинь, Цейтлин! Главные зрители-то, выходит, все шведы были, понимаешь? И императрица вся Русь, и шведский король, и последний представитель русского боярского рода – Бецкой! Шведы все в какой-то степени... А на дворе годовщина Полтавской битвы. Понимаешь ли ты всю парадоксальность ситуации, надворный советник? Есть над чем подумать, вообще, а? А патриотам-то «антинорманнского» толка, в частности. А с другой стороны, ежели верить, что всё ж таки варяги Русью правили изначально, то вот оно тебе – возвращается всё на круги своя! Вот он – «варяжский вопрос», который ещё Михайло Василич Ломоносов оспаривал. Во всей его политической двусмысленности... Особенно нынче...

У Сеньки скандинавская вся эта тема особого интереса не вызвала. Слишком уж много было непонятных деталей... И причем тут Ломоносов? Он же, молекулярно-кинетической теорией занимался... И стеклом... К тому же Сеньку стало беспокоить другое... По его подсчетам собеседники говорили уже минут десять, и явная склонность «Светлейшего» ко всяческим воспоминаниям, историям и байкам начала наводить его на тревожные мысли о том, что беседа

эта на морозе может продлиться ещё долго... А холод, который стал проникать за воротник несолидного его пальтеца, потихоньку давал о себе знать...

Нахохотавшись вволю, Светлейший закончил свой исторический экскурс словами:

– Ну, в общем, фееричное было зрелище, Цейтлин, я тебе доложу. А для полноты картины добавь-ка ещё в этот букет двух фаворитов: твоего покорнейшего слугу, – шутливо поклонился он надворному советнику, не забыв при этом придержать за шкурку левретку, отчаянно вцепившуюся ему в плечо, – и графа Зорича, Семён Гаврилыча...

Упомянутый граф Зорич Семён Гаврилович, был фигурой преинтереснейшей, хоть и весьма противоречивой. А для нашего повествования к тому же ужасно важной! Ибо он-то и познакомил, а правильнее сказать, свел Светлейшего с Цейтлиным. Продержавшись в статусе официального фаворита матушки-императрицы всего одиннадцать месяцев, Семён Гаврилович был ласково, но твердо отстранен, ибо много наглупил. Удален он был в провинциальный город Шклов – щедрый императорский подарок – выходное, так сказать, пособие для экс-фаворита.

Кандидатура Зорича была предложена и продвинута Потёмкиным, для которого постоянный поиск, подготовка и проталкивание «правильных» фаворитов для императрицы было занятием наиважнейшим, ибо гарантировало и ему статус второго лица государства, и душевное равновесие государыни. В деликатном этом деле, требующем такта и тонкого понимания человеческой натуры, Потёмкин достиг высочайшего профессионализма и почти не ошибался. Почти... Но об этом чуть позже.

– Что же ты, Сема, так жидко облажался? – с ласковой издевкой спросил он могучего красавца, узнав об отставке. – Уж я-то старался. Пихал тебя во все места. Пропихнул-таки, продвинул. Шутка ли, главнейший альков Европы! А то и мира! Аль, действительно, не шибко умен? Одним-то хером государыню не удивишь...

Буйный серб вспылел и вызвал Светлейшего на дуэль. – Э нет, брат, уволь, – лениво отказал ему Потёмкин, – я человек государственный, жизнь моя дорогого стоит, чтоб ей рисковать. Особливо со вспыльчивыми авантюристами. Пойди проспись.

Через пару дней помирились вроде...

Но окончательное примирение состоялось, когда Светлейший по дороге в Крым завернул в Шклов на пару дней, погостить.

Представляя Йошуа Цейтлина, Зорич лаконично сказал Светлейшему:

– Весьма полезный жид. И надежный. По-немецки шпрехает, как натуральный шваб.

– По-немецки цацки-печки, – оценивая довольно рослую для местечкового ашкеназийского еврея фигуру зоричевского протеже, процедил Потёмкин, – по-немецки – мы и сами с волосами... Sprichst du Englisch? – спросил он, тщательно прошупывая взглядом «полезного еврея», пытаясь, по привычке практикующего заядлого физиономиста, понять суть незнакомца.

– Only conversational English, my prince, – с поклоном, но без подобострастия отвечал Цейтлин.

«Неплохо развиты мышцы шеи, однако», – с профессиональным интересом отметил Потёмкин, бросив взор на сей орган, склоненный в поклоне и выглядывающий из-под традиционного мехового малахая, неотъемлемой части облика религиозного польского еврея XVIII века.

– Голова не потеет? – невинным голосом спросил он.

Ехидство вопроса было дозировано... Светлейший, будучи существом абсолютно нетривиальным, никакого врожденного превосходства к инородцам, как большинство русского и ещё в большей степени европейского дворянства, не испытывал. Наоборот, был дружелюбно-любо-

пытен. И потому в потёмкинской свите частенько обреталось немало представителей разных этносов и конфессий, вплоть до буддийских монахов-даосов...

– Нет, мой князь, головной убор этот, зовущийся «штраймл», устроен так, что создает воздушную прослойку, которая весьма способствует эффективной терморегуляции. Не потеет.

Спокойный взгляд больших темных глаз и тихий, но твердый голос ашкеназийца произвели на Потёмкина наиболее приятное впечатление. Не говоря уже о смысле сказанного и манере подачи информации. Русский язык у Цейтлина был грамматически идеальный. Портит его лишь легкий, но неистребимый акцент с уклоном в картавинку, – неизбежное наследие местечкового происхождения.

Относительно воздушной подушки меховых шапок, малахаев, папах и других головных уборов Григорий Александрович, конечно же, был в курсе. Ибо великое множество обладателей баранных шапок – татар, ногайцев, черкесов, запорожцев да и просто крестьян молдаванских, украинских и валашских – прошло перед его взором. Подвергнув нового знакомого разнообразным лингвистическим каверзам, Светлейший, к своему удивлению, узнал, что тот владеет разговорными английским, испанским, итальянским, французским, молдавским и польским языками. Ну и, конечно же, всеми местечковыми диалектами Украины и Литвы.

Но истинной гордостью этого шкловского полиглота было совершенное знание немецкого, в особенности его северного диалекта – «*Berlinisch*». Нежность ко всему берлинскому, включая диалект, имела очень серьезную причину. Имя ей было – Мендельсон...

...Нет, не немецкий композитор, чье полное имя звучало как Якоб Людвиг Феликс Мендельсон Бартольди, и под звуки бессмертного свадебного марша которого сотни миллионов человеческих особей погружались и погружаются по сей день в непредсказуемые пучины matrimониальности. Нет, речь идет о дедушке композитора – Мозесе Мендельсоне, которого сам Гёте прозвал «немецкий Сократ».

Приезжая по делам в Берлин, Цейтлин спешил в гостеприимный дом Мендельсона, находившийся по адресу *Spandauerstraße*, 68, насквозь пропитанный идеями Хаскалы – движения еврейского просвещения. Там, в этом открытом для всех доме, можно было встретить самые блестящие немецкие умы того времени. Чего там только не обсуждалось: мысли и учения Лейбница, Руссо, Спинозы, вопросы веротерпимости и свободного выбора религиозных убеждений, разграничение сферы влияния государства и религии... Ну и, конечно же, идеи реформы иудаизма, которые уже вовсю витали в воздухе... Хозяин дома, основоположник и духовный лидер «Еврейского Просвещения», был беззаветно предан идеалам Просвещения Европейского... Умница, интеллектуал, философ, друг Лессинга и Канта, Мендельсон страстно жаждал приобщения, своих соплеменников, обитателей многовекового гетто, к европейской культуре, немецкой в частности... Удалось... Приобщились...

И вот ведь парадокс, читатель... Чем это закончилось для наипросвещеннейшего немецкого еврейства мы конечно же знаем...

...Для Цейтлина это был прорыв в другой, дурманивший его душу огромный мир, бурлящий интеллектом и смелостью мыслей, мир, столь непохожий на монотонный мирок его местечкового патриархального Шклова. Пока он не встретил Потёмкина...

Изначально их общение сводилось к весьма тривиальным деловым отношениям. Займы, кредиты, закупки...

Отношение к нему круто изменилось после того, как Потёмкин и Цейтлин как-то раз чуть не сгинули на пару в херсонской степи. Дело было так. Объезжая окрестности строящейся крепости, Светлейший, вопреки своему обыкновению, не взял конвой. Сопровождал его лишь Цейтлин, ибо намеревались они во время поездки обсудить кое-какие финансовые тонкости

зарубежных займов, подальше от любопытных глаз и ушей, для которых эта информация не предназначалась. Потёмкин ехал на своем коне, а Цейтлин взял мохноногую казацкую лошадку с полной экипировкой, включая пику, подругу казацкую, вставленную в притороченный к правому стремени специальный кожаный стаканчик – бушмат.

Увлеченный разговором Светлейший не сразу заметил три скачущие в степи точки, на глазах превращающиеся в татарских всадников. Бежать было поздно. Атакованные сзади, они, скорее всего, погибли бы, и бесславной смертью.

– Цейтлин! – незнакомым голосом прорычал Светлейший, выхватывая тяжелый кавалерийский палаш и погружаясь в нервно-радостное предвкушение поединка, – слушай меня и делай, как велю! Бери левого на пику! На полном ходу, знаю, сдюжишь! Остальные на мне! Ногу в ножную петлю вставляй, что на самом конце. Вот так, молодец! В неё ногой упрешься, как во стремя, так-то удар твой таранный сильнее будет! И древко подмышкой придержи при ударе, и сразу же кистью, кистью доверши, понял? С Богом, брат!

И, заводя себя нечеловеческим рёвом, он стремительно ринулся на правого всадника, обходя его сбоку и оставляя Цейтлина позади. Эта неожиданная атака Светлейшего расчленила и немного перегруппировала татарский конный строй, до того двигавшийся дружной тройкой почти синхронно, покачивая в такт скачке лисьими хвостами своих меховых шапок. Центральный всадник стал притормаживать, разворачиваясь, левый же продолжал свое движение, неумолимо приближаясь к Цейтлину.

Тот, чувствуя неистовые толчки крови в висках и груди, возбужденный до какого-то, доселе неизвестного ему зверского состояния, исполненный смеси страха и ярости, неумело прищипывая лошаденку, поднял притороченную к седлу запорожскую пику, кое-как пристроил подмышкой и послушно поскакал навстречу своему противнику. Как в жутком замедленном фильме, видел он приближающееся к нему лицо татарина, искаженное полуулыбкой-полугримасой... Мелкие зубы, округлившиеся от боевого азарта, с желтоватой поволокой глаза, редкая борода – всё это в какую-то долю секунды зарегистрировало его воспаленное от возбуждения битвы сознание.

– А вот так! – услышал он бешеный окрик Светлейшего, который страшным разваливающим ударом палаша уже раздробил череп первого татарина...

Он, конечно же, был большим мастером конного боя – князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический. Шесть лет тренировок в кавалергардском корпусе и бесчисленные баталии первой Турецкой войны сделали его виртуозом. Полностью погружаясь в транс боя, он действовал почти автоматически, как совершеннейший боевой механизм, работающий на давно отработанных до уровня рефлекса и намертво сидящих в мышечной памяти приёмах рубки...

Одними ногами разворачивая коня вокруг невидимой оси, как бы проходящей через конский круп, одновременно занося руку для второго сокрушительного удара, он ещё успевал краем глаза следить за соратником.

– Пик, пик... закрепляй!

В этот момент татарин, противник Цейтлина, издал какой-то даже не крик, а визг – торжествующий визг животного, предвкушающего скорую смерть другого животного. И если до того надворный советник не испытывал ничего, кроме страха и нервного возбуждения, то сейчас, услышав этот визг существа, так истошно жаждавшего его гибели, он почувствовал приступ какого-то неизвестного ему доселе яростного чувства другого толка. Его глотка тоже как-то сама собой сложилась, издавая вопль гнева и ярости. Рука, до сих пор просто судорожно сжимавшая древко пик, вдруг согнулась в локте и окаменела.

– Коли, Цейтлин! – призыв Светлейшего раздался откуда-то сбоку, заглушаемый хрустом разрушаемой татарской ключицы.

Он привычно и умело вкладывал в свой удар силу замаха, приумноженную весом общего исполинского тела: и коня, и всадника. Ключица – косточка хрупкая. Если умело рубить, то редко выдерживает отвесно падающий удар на полном скаку, даже в наплечниках, а у татарина таковых не было. Только толстый стеганный халат...

Страшный крик князя, но, скорее, всё же хряст разрубаемого товарища, на долю секунды отвлекли противника Цейтлина. Этого было более чем достаточно, чтобы острие пики на полном ходу бодрого аллюра мохноногой лошаденки, пробивая слои халатной ваты, вошло в тело татарина – любителя повизжать при атаке.

Сначала рука Цейтлина ощутила робкое, как бы протестующее, первичное сопротивление чужой плоти. Он довершил удар кистью, как наказывал князь. Кистевой этот удар похоже перерубил какой-то крупный сосуд. И через мгновение Цейтлин почувствовал, как, словно насаженная на острогу, рыбина чужой жизни яростно трепещет и бьется, не желая уходить из тела. Но уже через секунду – другую, подчиняясь воле победителя, вздрагивает в последний раз и замирает навсегда. И вот тогда, в этом заключительном аккорде убийства его рука, сопряженная в страшном союзе с острием пики, просто проваливается, проваливается в теперь уже податливое, неживое тело...

Дикое опьянение победой, животный восторг выжившего, сотрясали всё его существо первые несколько минут после совершенного. Но внезапно всё это разом ослабело и ушло, оставляя лишь свирепую тоску по загубленной жизни...

– Ну, вот тебе и «не убий», рабай! – с кривой усмешкой произнес осипшим голосом подъехавший Потёмкин, вытирая пучком травы кровь с лезвия палаша. Но, взглянув на лицо Цейтлина, осекся.

– Первый у тебя? – участливо спросил он его – теперь уже боевого соратника.

Цейтлин утвердительно кивнул головой. Губы его шевелились...

– Барух ата Адонай... – услышал князь.

Вечером мылись в бане. Светлейший с удовольствием посматривал на крепко сбитое, белое с рыжинкой тело Цейтлина. Легкое различие в анатомии не вызвало особых эмоций, ибо огромное количество пленных мусульман прошло перед его взором. – А обрезают-то вас когда? – полюбопытствовал лениво.

– На восьмой день после рождения, Светлейший, – отвечал Цейтлин.

– Ах, да! – хлопнул себя по лбу Потёмкин, – младенца Иисуса ведь тоже на восьмой, оттого и Васильев день празднуем! Он же – праздник Обрезания Господня. Интересно, получается, вы за закон Авраамов крепче других держитесь.

Мысль эта привела его в ещё более хорошее расположение духа, и он яростно стал хлестаться и березовым, и дубовым вениками попеременно. А Цейтлин скромно плескался в шайке, смывая грех и тоску убийства, пока не получил пару сочных ударов веником.

– Полно горевать, рабай, посмотри – нас сегодня фортуна любит, а то, глядишь, лежали бы сейчас посередь степи голышом, один обрезанный, другой – нет, но кишки наружу у обоих. И тухли бы себе рядышком на горячем солнышке.

Цейтлин, обладавший отличным воображением, содрогнулся. Вдохнул горячий, напоенный березовым духом воздух парной, взял веник и стал хлестать себя, сначала легонечко, а потом, войдя в раж, уже не останавливаясь. Тихо постанывая от наслаждения... Потёмкин захохотал на всю баньку от полноты и радости жизни. А потом впервые задал ему свой странный, но ставший излюбленным в последнее время вопрос:

– А скажи мне, любезный рабай, столь ревниво различающий плотское и божественное наслаждение, получаемое от расчесывания, ну, скажем, укуса блохи – это просто скотское наслаждение, и ничего более? Или, скажем, наслаждение от ударов веником по голому распятому телу? Нет, ты скажи!

Тема эта волновала его действительно не на шутку...

Дело в том, что Светлейший уже давно и на полном серьезе писал научно-философский трактат: «О возможной природе наслаждений кожно-мышечных, укусах блошиных, о блохах самих, а также вшах и их влиянии на историю Европы». Впервые мысли эти посетили Григория Александровича в горячечном бреду, когда, валяясь на соломе и блохами набитом матрасе с приступом болотной лихорадки, подхваченной в дунайских малярийных плавнях, искусанный комарами, блохами, вшами и ещё черт знает какими кровососущими тварями, он расчесывал всё свое огромное тело до кровавых ран, не в силах остановиться...

Но об этом позже.

Случай в степи имел, однако, довольно серьезные последствия. Потёмкин приблизил Цейтлина чрезвычайно после этого «боевого крещения». И с того времени стал иногда называть его «брат Цейтлин», что было, безусловно, явлением неслыханным...

– Да что же тебе всё нейдет, псина? Что ты всё вертишься, как вошь на сковородке? Слушай, Цейтлин, а может, она и вправду вшивая?

И, держа Изиду на вытянутых руках, Светлейший стал ей выговаривать:

– Вшивым во дворец нельзя. Вшивых во дворец не пускают. Слышишь?

Изида затихла, покорно и преданно глядя ему в глаза. Притворялась, конечно же. Уж очень хотелось во дворец, к императрице. Ибо у этой непростой левретки, похоже, и планы были непростые...

– Нет, ты только посмотри, Цейтлин, она будто и вправду понимает по-человечески! Ну вот и умница, Земира Вторая, – я предрекаю тебе великое будущее... Завтра же отнесу тебя во дворец. С самой государыней жить будешь, по паркам гулять, на картины попадешь, прославишься, – поглаживая притихшую Изиду, приговаривал Потёмкин.

Вся эта возня с подлой предательницей уже давно вызывала у голодного и продрогшего Сеньки серьезное раздражение. Он прекрасно помнил внимательный взгляд жутких глаз левретки там, у пруда... И этот весьма конкретный намек Светлейшего на ее будущую придворную карьеру с возможным вариантом влезания опасной прохиндейки в картинное бессмертие потряс его окончательно. Ибо в бессмертии картинном Сенька толк понимал. И в портретах сильных мира сего тоже...

Именно там, в Русском музее, как раз в соседнем зале с художником Левицким и его «Смолянками» висела знаменитая картина художника Боровиковского «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке». Не оригинал, правда, а авторское повторение. Экскурсовод долго рассказывал историю картины, ибо на то было несколько преинтереснейших причин...

Портрет этот, в отличие от большинства известных изображений императрицы, ею заказан не был. Екатерина Алексеевна любила видеть себя на парадных портретах императрицей всея Руси, со всеми атрибутами власти и могущества, в сиянии славы. А тут – старушка на прогулке...

Кто-то убедил Боровиковского попробовать жанр камерного портрета и изобразить матушку-императрицу в домашней, так сказать, обстановке. Однако, увидев сей портрет, Екатерина Алексеевна в восторг не пришла. Более того – огорчилась, увидев себя, 65-летнюю, без привычного ореола царственности. И портрет этот не выкупила. Так он и остался висеть в мастерской Боровиковского, напоминая тому о неудаче. Через много лет картина все-таки была продана, она сменила нескольких владельцев и, в конце концов, попала в Третьяковку.

Однако кому-то уж очень хотелось продолжения. И несколько лет спустя, после смерти императрицы, Боровиковский, невзирая на фиаско первого портрета, пишет авторское повторение, заказанное известным меценатом. Именно то полотно, что висит нынче в Русском музее,

в Ленинграде. Второй вариант более сух и сдержан. Его отличает тщательность деталей, в особенности в изображении любимой комнатной левретки императрицы...

«Дети, а теперь внимание! Сюрприз... – опять всплыл голос экскурсовода в Сенькином сознании. – Сюжет этот был использован Александром Сергеевичем Пушкиным в повести “Капитанская дочка”. Помните сцену встречи Маши с императрицей в Царскосельском парке? Похоже, что Пушкин, скорее всего, писал эту сцену с гравюры, тоже сделанной кем-то на заказ. Уже много лет спустя. И вы знаете, дети, на гравюре собачка императрицы изображена уже совсем по-другому...»

Тут Сеньку «прошило» не на шутку от страшных подозрений и догадок – как-то уж слишком много «кто-то», «кому-то» и «кем-то» появлялось в этом уравнении с многими неизвестными! Портрет, левретка, императрица... Неужели? От волнения он с хрустом заворочался в кустах...

Странные собеседники, возможно, и не заметили бы его, как не замечали и раньше, если бы вредная Изида не сорвалась с рук Светлейшего и не устремилась бы с лаем к месту Сенькиного укрытия. Извлеченный из-за кустов, он предстал перед удивленным взором князя. Подняв глаза, он уперся взглядом в огромный, голубой, но единственный глаз, глядящий на него, впрочем, довольно доброжелательно.

«Выходит, это действительно тот самый Потёмкин? – посетила Сеньку довольно дурацкая мысль, – ну, и что же мне теперь делать?»

– Тебя как кличут-то, отрок? – осведомился Светлейший с высоты своего роста, удерживая рвущуюся из рук Изиду, недавно переименованную им в Земиру Вторую.

– Сенька, – ответил Сенька, слегка пощелкивая зубами от холода, а больше от волнения. И видя, как изменилось выражение лица спрашивающего, вжал голову в плечи, точно ожидая хорошего удара по шее. Но удара не последовало. Последовала продолжительная пауза. Когда Сенька поднял глаза, Потёмкин и Цейтлин молча смотрели друг на друга.

Имя это – Сенька, сам звук имени, пробудил в них одно и то же воспоминание...



## Глава третья

### Уроки рубки и нумерологии



Запорожская Сечь была распущена, а вернее сказать, ликвидирована Екатериной Алексеевной после подавления пугачёвского восстания. Не сразу. А где-то через полгода после того, как морозным январским утром отсекли Емельян Иванычу Пугачёву буйну голову на Болотной площади в Москве. Причин для роспуска Сечи у империи накопилось немало. Да и распускали русские монархи ее уж не один раз. Но пугачёвщина так крепко пуганула государыню, что решение было принято окончательное. Оставалось только обсудить детали...

— А что ты скажешь, казак мой, Грыцко Нечеса? — похлопала императрица густую шевелюру Светлейшего веером, составленным из резных ажурных пластин слоновой кости с позолотой.

Смешно и странно для русского уха прозвучала эта кличка в иноземных ангальт-цербстских, голштейн-готторпских устах правительницы всея Руси...

А получил ее, кличку сию казацкую, Светлейший вот как.

Когда лежал Григорий Александрович почти полумертвый, в лихорадке, подхваченной в дунайских плавнях, выхаживали его два брата-запорожца. Для снятия жара обрызгивали ему голову холодной водой, кутали в мокрые простыни целыми днями да отпаивали отварами травяными.

И пока пребывал Потёмкин в лихорадочном болотном бреду, пели они ему песни свои степные да сказывали сказки свои страшные, а то и просто трюндели про вольну Сечь, про обычаи свои чудные. Вот они-то первыми и прозвали его Грыцком Нечесой, ибо волосы Григория Александровича, длинные и кудрявые, свалялись за время болезни в грязные космы. Ну и в шутку признали его почетным членом казацкого войска. Для подбодрения духа, так сказать. Но Потёмкин и не думал шутить... Выздоровев, он направил просьбу-прошение кошевому атаману Калнышевскому принять его в Сечь. Через месяц был принят...

— Что молчишь, Гришенька? — спросила Екатерина Алексеевна ласково.

Григорий Александрович знал, что стоит за этой Катенькиной ласковостью, и с ответом не спешил. Почитай, год уже жили они как муж с женой. И он, будучи быстро обучаемый системой, многое про матушку-императрицу узнал и выучил...

– Дай подумать, Мамочка, – уперся он лбом в выпирающий восьмимесячный живот Государыни всея Руси.

– А что тут думать-то, Григорий Александрович? – отстранилась она. Запорожская Сечь твоя – это орда, разбойное сборище без совести, без чести. Готовое служить хоть турецкому султану, хоть королю шведскому... Православием своим кичатся, а сколько раз на своих же православных сородичей нападали, на Русь. И польскими походами ходили, и в татарских набегах участвовали. Украинских своих же мужиков грабили вместе с крымцами и с ногаями, а православных молдавских да валашских крестьян сколько раз разоряли!

– Ты пойми, Матушка, – терпеливо отвечал Потёмкин, – мужиков казак искренне презирает, ибо понятие мужичества у него соединяется с подневольным трудом, коего он бежит. Также нет у казака отечества, казак человек бездомный по выбору... Человек, которому тесно, тяжело жить в обществе, ибо не так оно устроено по его разумению. По его младенчески-наивным, если хочешь, взглядам на наши общественные отношения. Он ведь Вольтера не читал... Казак, Катя, ищет только личной свободы... Он и бежит в Сечь с тем, чтобы быть вольным рыцарем, пусть даже порой разбойником, но уж только не мужиком!

– Рыцарем? «Лыцарями»-то они себя величают, а на самом деле натуральные наемники. Просто племя готов, готовое предложить свои сабли, пики и пищали тем, кто в них нуждается. За изрядную мзду, естественно...

– Так ведь место такое, Матушка! Окраина Империи... Кто проходит мимо, с теми они и рубятся, а когда выгодно, тогда служат. Им иной раз всё едино, они ведь есть истинные дети матери своей, Сечи, – дикие, свирепые, но и по-своему прекрасные... Хоть и неразумные...

– Хороши дети! Ну ты и сказанул, Григорий Александрович, – обычно лазурно-голубые ангалт-цербстские глаза императрицы стали стального оттенка, – да ты у нас просто поэт, певец Сечи Запорожской, Светлейший... а законы их противоестественные насчёт женщин, это что? Как они – двадцать тысяч здоровых, напоенных жизненными соками мужиков, без баб там в своей Сечи обходятся, а? Объясни!

«Ну, вот она, истинная суть проблемы, – подумал про себя Потёмкин, – глазами женщины...»

– Ежели ты им мужеложство вменяешь, Государыня Матушка, то зря – нету его там, все они в большинстве своем христиане православные...

– Нету? А что же есть?

– Мужское братство есть и круговая кровавая порука.

– Вот и я о том, что кровавая...

– Так они же воины, а где война там и кровь, извини уж за прописную истину, Катюша.

Екатерина задумалась. Лицо ее постепенно просветлело. Лоб разгладился. Все-таки незаурядная была женщина.

– А ведь ты прав, Потёмкин. У воинов, на смерть идущих, безусловно, братство своего рода, братство смертников. Оттого-то бабы по военным с ума сходят – запах их скорой смерти чувствуют. Ну и опять же, надежды наивные на защиту свою питают...

– А скажи мне, Гриша, – глаза ее брызнули голубым любопытством, – а как же солдаты всё ж таки обходятся... ну, без баб в армии. Никогда не думала об этом, а ведь загадка...

– Да я и сам не знаю, Матушка, мистерия это и для меня, – пожал плечами Потёмкин и сделал одну из своих невинных физиономий, – обходятся как-то.

– Ах ты, негодник! – расхохоталась она и легонько толкнула его веером в плечо. – А Сечь мы распустим без промедлений. Мне и пугачёвских казаков хватило. А ведь сколько к нему

тех же запорожцев-то набежало, прямо как мухи на мёд летели. Ты что думаешь, я не знаю, как меня казаки кличут? Клятой Катькой – слышал, небось...

Глаза ее опять стали сереть, и линия подбородка окаменела.

– Мне князь Волконский, председатель следственной комиссии, поведал, что план у пугачёвских подлецов был – идти на воссоединение с Сечью! Ты представляешь, Потёмкин, что было бы, случись воссоединение это?

– Представляю, матушка.

– Боюсь, что не до конца!

– Да ты не того боись! – заревел он вдруг грубым бычьим голосом, вставая во весь свой гигантский рост, доведенный до иступления этим, как ему казалось, чисто остзейским занудством. – Не того ты боишься, Катюша, не того... – всё ж таки взяв себя в руки, заговорил он громко и проникновенно, – ты вот всё своими немецкими мозгами анализируешь корни «бунта русского»... пытаешься понять первопричину пугачёвского «злодейского намерения»... И везде тебе видятся происки оппозиционеров тайных! Из дворян али из масонов, из агентов иностранных... А все, быть может, гораздо проще, примитивнее, Екатерина Алексеевна, – добавил он уже почти шепотом, – а ну как суть дела – в красивом мифе, в самом феномене самозванства?

Пугачёв-то ведь обольщал народ наш, столь охочий до сказок, «несбыточными и мечтательными выгодами» под видом государя Петра III, не так ли?

– Так! – холодно подтвердила она.

– Государя, понимаешь, Катя, а не самого себя! Ведь у нас самозванцы да бывшие императоры – всегда живой укор. Равно как и угроза постоянная своим преемникам. Воскресших царей мы так любим, что они ажно из могил восстают с завидной регулярностью! Тебе не кажется, Екатерина Алексеевна, что, может, страна у нас такая? Народ такой, специфический...

– Есть такая поговорка у вас, у русских, – неожиданно жестко сказала императрица, – «кажется – крестись...»

Емельян Иванович Пугачёв, стоя на эшафоте, крестился всё время. Пока читали приговор и «Последнее напутствие». Наконец чтение закончилось. Чтец и духовник сошли вниз. В морозном воздухе висел пар. Это в молчаливом ожидании действия дышала толпа. И только Пугачёв кланялся, как заведенный, и повторял:

– Прости, народ православный! Отпусти мне, в чем я согрубил перед тобою! Прости, народ православный!

Ох, сколько же душ загубил-замучил донской казак Емельян Иванович, сколько кровушки человеческой пролил, а ведь всё равно наивно надеялся на какое-то там последнее прощение. Народные вожди, читатель, похоже, все такие... оптимисты. *А может, он и вправду верил, что был защитником народным?* А может, в Бога поверил напоследок? Перед смертью у многих наблюдается такая тенденция...

Приговор суда гласил: «Емельку Пугачева четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести по четырем частям города и положить на колеса, а после на тех местах сжечь».

Командующий казнью подал знак. Над всей Болотной площадью повисла тишина. Слышен был только треск раздираемого шелка. Это палачи срывали с него последний символ атаманской роскоши – красный кафтан...

– А ведь я его, Пугачёва, по-царски одарила, – медленно промолвила императрица.

Потёмкин поднял на нее недоуменный взор.

– Легкая смерть – это царский подарок, – пояснила она надменно.

«А ведь, по сути-то, правда, – подумалось Потёмкину, – как ни говори, а легко ушел Пугач... Повезло ему... ведь если бы не тайный, но твердый царский приказ – сначала отсечь голову, а потом уже... Ведь всяко могло быть... А тут... Чай не хрипящим в кровище обрубок, обезумевшим от боли, попрощался он с народом православным! А героем, головой за волосы поднятой над Болотной площадью, хоть и мертвой, да не жалкой, не искаженной ужасом...»

– Права ты, матушка всемилостивейшая государыня, – то был воистину царский подарок!

Он встал на колени и, истово перекрестившись, опять прижался к ее животу. Там, в царском чреве, резво било ножкой его отродье. Дочка. Лизочка. Будущая Елизавета Григорьевна Тёмкина.

– И насчет Сечи ты права. Нам повторную пугачёвщину не потянуть, а ежели перекинется на Запорожье, то... Казаки, конечно же, фактор непрогнозируемый. Можно сказать, почти непредсказуемый.

– Казак! Слово-то какое! – императрица несколько раз со свистом рассекла веером воздух. – Ка-зак, ка-зак! – прямо как кинжал вжикает – и, кстати, обрати внимание, Гриша, – палиндром. Ка – з – ак ведь задом наперед читается. Интересно, случайность ли? Как думаешь, казак мой Грыцко Нечеса, а?

– Спору нет, Катя, – Сечь распускать надо, дело тут ясное. Крепко казаки расшалились. Да и не впервой нам. Но с наскоку никак нельзя. Не убивать же их всех, не брать же грех на душу. Всё ж таки свои, православные, хоть и сволочь! А вот куда девать десятки тысяч профессиональных рубак, не шибко пригодных для регулярной армии, мне пока непонятно. Пока – ключевое слово. Опять же геополитически должно как-то склеиться. Вакуум власти в регионе нежелателен. Вот если бы их переселить куда? Ну, в общем, дай подумать, Катя...

– Думай, Гришенька, думай, – голыштейн-готторпские глаза императрицы всея Руси опять сияли голубым ангельским огнем, – «геополитически» говоришь, кхм... Вакуум власти, – протянула она со вкусом, – экие новомодные словечки у тебя появились, надо бы запомнить... Уж не из журналов ли британских? Думай, князь, ты же у меня воистину Гений Геополитический, думай, но не тяни, понял?

В тот год весна в Приднепровье пришла позже обычного. И посему сирень зацвела лишь на Троицкую неделю. Наступили Зеленые святки. Их ещё зовут в народе Русальной неделей. Праздник этот по сути своей стремный, языческий. Особо остерегается народ наступления четверга, или, как его на Украине прозывают, Мавського Великдня, когда приходит время «заложных» или «нечистых» покойников, появляющихся на земле с того света на короткий период Русальной недели. Ну и запорожцы старались в этот день без особой надобности в лес и к реке не ходить, чтобы не повстречать нечисту силу...

Посты, правда, расставляли, как обычно, но караулы казачьи, однако, несли вполглаза.

Теплым июньским поздним вечером с четверга на пятницу, ближе к ночи, когда весь воздух вокруг острова Хортица наполнился нежным, едва уловимым ароматом отцветающей сирени, пятеро казаков сторожевого отряда спустились к Днепру. Молодняк, конечно, разбирало любопытство на русалок, особенно ежели те голышом плещутся, поглазеть. Вот и пошли двое к плесу, а вдруг блеснет в воде грудь девичья или ещё чего... Старые же сечевики, суеверные, как все воины, расположились у костерка и, раскурив свои люльки, повели неспешный разговор о том, как все-таки лучше обороняться от нечистой силы: крестом ли, молитвой или же пулями из самородного серебра. В воздухе повис аромат турецкого табака, смешиваясь с запахом сирени... Спор уже достигал своего апогея, как вдруг из полумрака, молча и как-то понуро вышли любители подсмотреть русалочьи прелести...

– Ну, що, надивилися на русалочьи дупи? – засмеялся старшой.

– И на дупи, и на пихвы, – ответил незнакомый насмешливый голос, – сдавайтесь, братцы... Вокруг вас пятнадцать тысяч войска колыом стоит, шансов нету... Крепко сби-

тый гусарский поручик вышел к костру, слегка подталкивая саблей молодых их сотоварищей. Любознательных...

– Да вы кто такие? Чьё войско будете? Ляхи? Угорцы?

– Русские войска. Генерала-поручика Петра Абрамовича Текели. Да ещё валашские и венгерские полки генерал-майора Фёдора Чобры... Дано вам два часа на размышление... Сдавайтесь, чего кровь православную проливать зазря!

Внезапность всегда деморализует. Сдали Сечь казаки. А под новый год вышел Императорский указ: «Запорожскую Сечь уничтожить, как богопротивную и противоестественную общину, непригодную для продления рода человеческого».

«Непригодную для продления рода человеческого...» Вдумайся в эту формулировку, читатель. Чисто женская логика, не правда ли?

После ликвидации Сечи бывшим старшинам было дано дворянство и предоставлено место службы в различных частях империи. Нижним чинам было разрешено вступить в гусарские и драгунские полки регулярной армии. Недовольная же часть запорожцев сперва ушла в Крымское ханство, а затем на территорию Турции, где и осела в дельте Дуная. Султан позволил им основать «Задунайскую Сечь» на условиях предоставления пятитысячного войска в свою армию.

Сенька Черноморд был среди тех, которые ушли за Дунай. Но служба у султана ему не шибко приглянулась. Да и жизнь в Задунайской Сечи была отлична от Запорожской вольницы. А посему, когда началась новая русско-турецкая война, вернулся он с повинной, как и многие сотни других перебежчиков, не пожелавших воевать на стороне Турции, и был прощен.

Кличка Черноморд дана была Сеньке в Сечи, весьма меткой на прозвища и острой на язык, за совсем не по-славянски темное, горбоносое лицо, на котором неожиданно светлой «персидской больной бирюзой» зеленели странные недобрые глаза...

Представь себе, читатель, сто килограмм мышечной массы, прикрученной проволокой сухожилий и связок к широкоплечему костяку казацкого тела, обтянутого дубленой кожей и увенчанного бритой по-запорожски, идеальной формы, с крепким затылком головой, насаженной на дорическую колонну шеи. Представь чуприну – знак доблести и привилегии истинного сечевика, побывавшего во многих рубках, клок черных волнистых волос, зачесанных на левую сторону, там, где носят ордена да оружие, – живописно ниспадающую на сожженный солнцем лоб. В левом ухе – серебряная серьга, украшена бирюзой с двумя мелкими жемчужинками. Кармазиновый кунтуш из темно-вишневого сукна, синие шаровары, вправленные в сапоги из крымского красного сафьяна, смушковая шапка-кабардинка с золотым позументом. Польская сабля – карабела – с затейливой рукоятью. Турецкий, принесенный из-за Дуная ятаган с насечкой. Пожалуй, все.

Ну, вот тебе, читатель, и портрет Сеньки Черноморда, что называется, в натуральную величину...

Приглянулся он Потёмкину поначалу исключительно по причине феноменальных фехтовальных талантов. Светлейший впервые увидел Сеньку в рубке под стенами осажденного Очакова. С двумя саблями в руках, сеющий смерть в радиусе семи метров вокруг себя, он реял, как взбесившийся Ангел смерти... После взятия Березани Потёмкин представил «корифея рубки», как он его прозвал, к награде, и взял к себе в окружение. Раза два в неделю давал ему Сенька уроки рубки на казацких саблях. Именно тогда-то и осознал окончательно Потёмкин преимущество кривизны клинка сабельного над прямоотой палаша немецкого, введенного на вооружение ещё при императоре Петре Алексеевиче. И немедля начал перевооружение российской конницы и, особенно, полевой пехоты, ибо до этого времени у пехотинцев на вооруже-

нии состояли шпаги с тесачными клинками, не имевшие никакой практической пользы, особенно в пешей рубке с турками.

Атака на вооруженную руку – это самый простой способ закончить бой. И турки об этом прознали давно. А от них и казаки. Делается это концом клинка, кистевым броском – так учил Светлейшего Сенька. Рукоятка должна лежать в кисти, как пойманная птичка. Прижмешь – задушишь, расслабишь – улетит! Расслабление при замахе и мгновенное напряжение при касании. Так и удар быстрее будет...

Любое оружие при нанесении рубящих ударов, под действием центробежной силы, стремится «вырваться» из руки. Поэтому, чтобы боец мог дольше наносить рубящие удары даже в состоянии усталости, конструкция рукояти рубящего оружия настолько изобретательно изощрена. И для защиты, и для эффективного хвата. Но для пешей «свары» иной раз, когда противник защищен кирасой, к примеру, работает лучше всего жесткий хват, «молотковый», когда сабля – как бы продолжение руки...

Во время уроков по «биомеханике сабельного боя» разрешалось учителю – Сеньке, прозывать ученика – Потёмкина – «пан Грыцко».

Общение между ними обычно шло на одном из разговорных диалектов многонациональной Сечи того времени, вобравшем всё разнообразие лексикона ее разношерстных обитателей... На «казацком» языке...

– Глянь на энту польску шабелюку, пан Грыцко... Глянь, як вона збалансована, а вернейше сказать, выверена, для замахов... Особливо с плеча и с локтю. То дюже добре для пешой рубки... Глянь сюдыть... кысть не працуе зовсим... Працуе тильки плечо да передплеччя трохи... Хват у энтой польский корабелы таков, шо в руке вона не вовтузится, а сидит жестко... Молотковый хват, бо розрахован на молотковый удар по пешому противнику. Тут, пане, потрібна сила, ниж швидкость...

За три века запорожцы набрали в свой арсенал почти все виды и восточного, и европейского оружия, но самым употребляемым, да и почетным, конечно же, было оружие холодное. Правда, далеко не всякое. Предпочтение для «свары в поле» отдавалось классической казацкой сабле. Но заветной мечтой всякого запорожца была, конечно же, королева сабель – польская карabela, богато украшенная, с рукоятью в форме орлиной головы, с загнутым вниз набалдашником, удобная и для фехтования, и для круговых ударов, и для пешей рубки. Ежели знаешь, как рубить по правилам казацкой сабельной науки...

– Рубаемо, пан Грыцко, рубаемо сильнейше, а то ж пан не рубаеть, пан по дупе дивчачьей долонькою гладить...

Говоря о «девичьих дупах» и других аспектах женской анатомии, мастак был Сенька по этой части изрядный. Хотя, будучи истинным порождением Сечи, со всеми ее законами, легендами и ритуалами, которые он свято соблюдал и поддерживал, женат не был. Всегда предпочитал мужское сотоварищество женским утехам. Но стоило ему поднять свои бирюзовые в оправе черных ресниц очи, как все без исключения бабы и дивчины начинали тихо таять. Даже страх перед мордой его нерусской и страшно-угрюмой уходил куда-то. Видать, слово особое знал казак, «петушиное»...

Увидев Цейтлина в первый раз разгуливающим по лагерю в длиннополом кафтане, в меховой шляпе – штраймле, с окладистой бородой и пейсами – ну, прям еврей, «евреее не бывает», Сенька встал как вкопанный и, выкатив свои глазелупы, присвистнул:

– Тю... так тож справжний жидяка буде...

Ему объяснили, что Цейтлин тут занимается важными делами, по сути дела обеспечивая логистику армии, и приближен к Потёмкину до невероятности. Но поверить в это до конца Сенька, хоть убей, не мог, и при случае старался Цейтлина как-нибудь да поддеть.

Не то чтобы он, запорожец, в своей жизни не видал евреев... Перевидал их Сенька предостаточно, и в Сечи, и около. Но то были либо принятые в Сечь, отпетые и большей частью выкрещенные буйные головы – бандиты и головорезы под стать остальной братве, либо шинкари и торговцы, промышляющие среди казаков или ведущие торговлю розницей в предместье Сечи, называемом «сечевой базар». Первые немногим отличались от остальной многонациональной мешанины Сечи. Вторые же имели характер робкий и вели себя тихохонько, не высываясь, ибо боялись напороться на неприятности, спектр которых варьировался от грабежа и побоев до смерти, подчас очень жестокой и мучительной.

И с теми, и с этими ему было всё понятно...

Но Цейтлин, свободно разгуливающий по лагерю с превеликой важностью в своей одежде, вызывал у Сеньки наисерьезнейшее раздражение – не вписывался он ни в одну из вышеупомянутых категорий...

Каждый раз, проходя мимо Цейтлина, Сенька, как бы невзначай, жестким, как железо, плечом старался притереть его к стенке или ещё как-нибудь прижучить. Однажды, увидев эту сцену, Светлейший решил восстановить статус-кво по-своему. Подъехав верхом к казаку, он слегка прижал его конским крупом к каменной кладке стены.

– Хорошо ли тебе, казаче?

– Погано мине, пан Грыцко, – честно отвечал на сей риторический вопрос Сенька, покрасневший под насмешливыми взглядами случайных свидетелей происходящего, тщетно пытаясь освободиться.

– В Евангелии от Луки, казаче, сказано: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Чи не слыхав?

– Слыхав, – Сеньке наконец-то удалось вырваться из клещей.

– От и добре! – подытожил Потёмкин, – так и роби впредь. Може, в рай попадешь... Хотя я лично в этом глубоко сомневаюсь, – добавил он уже себе под нос.

– Что он тебе плохого сделал, Семён?

– Який же у него безглуздый лапсердак...

– Цейтлин у меня дорогого стоит, казак, а что одет не так, как ты, так на то его полное право как свободной личности, понимаешь? На себя-то давно ли в зеркало глядел? На шаровары свои синие с кунтушом кармазиновым? Да на чуб свой, з яким ты тут шлендраешься, аки индиан чубатый з колоний мериканьских? Али ты думаешь, шо цей наряд варварський в сочетании со своеобразьем прычоски твой, есть еталон эстетики? Однакож, ничего. Мы ж не заперэчуем – потому как это е твое право, як индивидуума. Лычности... Чубатой, но личности, разумиешь?

– Разумию...

– Эх, тебе бы Вольтера почитать или Канта...

– Яки же у него поганы пейсики! – не унимался Сенька.

Потёмкин подъехал к казаку вплотную, взял за чупрыну и спросил:

– Это чо?

– Чуб, чупрына...

Светлейший, сидя в седле, подтянул слегка Сеньку за чуб, вверх к себе, склонился к нему и пропел тихонько в его украшенное серьгой ухо:

«Чуб козаку для чого? – Як на войне згину:

Мене ангел понесе, в небо за чупрыну...»

Потом отпустил и добавил глубокомысленно:



– Прикинь, – пейсы еврейские, как чуб у казака! И, може, ангелы иудеев в небо за пейсы носят...

А ведь интересная мысль, не правда ли, читатель? Всё ж таки Светлейший был большой оригинал...

– Сенька, говоришь, – повторил Светлейший задумчиво и опять как-то особенно, со значением, поглядел на Цейтлина.

– А ты откуда родом будешь, отрок Сенька, не с Украины ли, чай?

– Нет, я – коренной ленинградец, со свойственной всем уроженцам города на Неве тихой гордостью произнес Сенька, несмотря на нешуточный испуг, от которого его потихоньку стало подташнивать.

– Коренными бывают только лошади и зубы, – попытался было пошутить Потёмкин, слегка обескураженный его ответом, – и причем тут Лена? Смысл сказанного тобою, отрок, мне неясен. Допросить бы тебя надобно...

Тут Сеньку стало колбасить по-серьезному и от абсурда происходящего, и от холода, который, наконец, полностью пролез под его пальтецо и даже дальше, но более всего от страшного слова «допросить»... Зубы его выбивали барабанную дрожь, и даже будь у него подходящий ответ Светлейшему, он вряд ли смог бы произнести хоть слово.

– Да он, похоже, замерзает! Ажно посинел! Пошли-ка скорейше в дом, пока он нам тут дуба не дал, – внезапно забеспокоился Светлейший, заметив изменения в цвете его кожных покровов.

– Надворный советник, будь добр, одолжи отроку свой соболиный малахай, покуда до дома не дойдем... Господь простит... Пётр Ефимыч, – обратился он к начальнику молчаливых гигантов-гайдуков, протягивая ему Изиду, – на, прими псину на время!

Левретка заворчала было злобно и даже ощерилась, всем своим видом выказывая недовольство происходящим, но Светлейший, показав ей внушительного размера кулак, мрачно промолвил:

– Ну-ка, тихо тут, не то быстро отправлю назад, в кусты...

Цейтлин с готовностью снял свой штраймель, оставшись в черной ермолке, с которой расставался разве что в бане, ибо покрытие головы придает «почтение Богу и препятствует человеку грешить», и протянул его подростку.

– На, прикройся покуда, – нахлобучил Светлейший на Сеньку гигантский головной убор, в котором тот тут же утонул на пол-лица. – Цейтлин, посмотри-ка, по Сеньке и шапка! Извини, избитая фраза, но не смог удержаться. По сути подходит.

– Кстати, – спросил он ласково, одной рукой обняв Цейтлина за талию, а другой потихоньку подталкивая Сеньку в одном ему известном направлении, – давно уже любопытствую, сколько же хвостов соболиных ушло на сооружение этого шапочного шедевра?

– В моем штраймле семь, Светлейший, но бывает так, что и тринадцать, и восемнадцать, и даже двадцать шесть бывает...

Светлейший аж присвистнул от удивления:

– Объясни!

– Число семь – символ совершенства мироздания, – немного торжественно произнес Цейтлин, – в Ветхом Завете, в книге Берешит, это Бытие у православных, сказано: «И завершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые делал...». Семь – святое число, с ним много чего в мироздании связано. Семь цветов радуги, семь нот гаммы музыкальной...

– Септима. Седьмой по счету интервал музыкальный, – подхватил Светлейший, будучи человеком чрезвычайно музыкально образованным, – всё Цейтлин, с семерками я, похоже, кое-что понял и полностью согласен. Семь дней Творения как эталон Вселенной это сильно.

Очень сильно. Символики, конечно, и разной другой немало, но сотворение мира – это, пожалуй, главное. Похоже, за всеми семерками сокрыто что-то в высшей степени фундаментальное! Давай-ка мы эту тему потом продолжим... Она зело не тривиальная, не хочу ее на ходу комкать... Мне вот теперь про число тринадцать услышать не терпится! Правда ли, что заколдованное оно? Несчастливое? Ведь и Иисус на Тайной вечере с двенадцатью апостолами сидел...

– Вообще, существует такое понятие, как «трискайдекафобия», сиречь суеверный страх перед числом тринадцать, – обстоятельно начал Цейтлин, – у разных народов разные об этом поверья и легенды. Так, англичане считают, что если за обеденный стол сядут тринадцать человек, один из них непременно умрет. У варягов, в Эддах их, на пиру в Валгалле поссорились за одним столом тринадцать богов. И закончилось это ссорой бога зимы с богом лета. Легенда эта, Светлейший, весьма показательна, ибо есть вечное отражение борьбы зимы и лета, холода и тепла в глазах человека. Всё ведь вертится вокруг солнечного цикла...

– А у иудеев что же... нет этой, как ты сказал, треско-фобии? Или три-ска-едака-фобии? – Светлейший осторожно, по слогам, выговорил мудреное слово, – тыфу ты, язык сломать можно. Чертовой дюжины не боитесь?

– Есть, конечно же, у иудеев суеверный страх, и весьма сильный, но только перед другими числами и цифрами. Но нумерология нами беспредельно почитаема. Ведь познание Всевышнего и творений его невозможно без знания символики чисел и законов их соотношений. А во многие знания, многие печали... Ну, и страхи, естественно. Отвечая же на ваш вопрос, числа «тринадцать» иудеи не боятся. Скорее, наоборот. Ведь в книге Исход дано нам узнать про тринадцать качеств Всевышнего, про тринадцать мер милости Господней!

Нумерология для всех народов высший смысл несет, а для иудеев особенный, так как у нас буквы к тому же ещё и цифровое значение имеют. Ну, вы же и сами знаете...

– Знаю, Цейтлин, знаю! И, на мой взгляд, слишком уж у вас всё насыщено нумерологией этой! Не перебарщиваете ли? Иной раз прямо цифризация текста какая-то. Ведь не для среднего ума всё это, согласись. Люди ведь просты большей частью, включая и твоих соплеменников. Им бы чего попроще, поощутимей. Бог всем нужен. Но такой, чтоб потрогать можно было. Живого Бога всем хочется! Вот что я тебе скажу! А не набор цифирей и функций...

– Но согласитесь, Светлейший, что осязаемый на ощупь Бог, как вы выразились, – это ведь очень напоминает... идола, не так ли? А ведь именно от этого и предостерегает Священное Писание. Ведь во второй заповеди сказано: «Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и елика в водах под землею...»

Потёмкин резко остановился. И вместе с ним остановилась вся процессия. Сенька, ничего не видящий из-за нахлобученного по самые уши малахая и влекомый мощной рукой, держащей его за шкирку, ткнулся во внушительного объема Потёмкинское чрево. А Цейтлин, обнятый другой рукой Светлейшего за талию, внезапно развернулся градусов на сто двадцать, прямо как танцевальный партнер, оказавшись лицом к лицу с князем.

– Ну, ты даешь! – в восхищении произнес Григорий Александрович, – вот за это мы тебя и любим особо, Цейтлин... Однако хочу тебе возразить, что никак нельзя смешивать поклонение святым иконам с запрещением поклоняться идолам, кумирам и тельцам золотым. Ибо мы, православные, вовсе не считаем иконы идолами. Икона по-гречески означает «образ». И, молясь перед ними, мы молимся не раскрашенному куску дерева, а тому, кто на ней, на иконе, изображен. Обращаться к Спасителю несравненно легче, когда пречистый лик Его перед тобой! А не пустая стена... Если только это не стена Храма Ерусалимского, – вдруг поправил он сам себя.

И задумался... Помолчал с полминуты. А потом, вздохнув, признался:

– Как же ты иной раз можешь мысль взбудоражить, брат Цейтлин! Прямо дар у тебя к этому! – и, не удержавшись, ехидно добавил: – Пожалуй, даже больший, чем к финансам...

И вновь возобновляя поступательное движение в направлении дворца, а вместе с ним двинулась и вся процессия, Светлейший позволил себе пошутить ласково:

– Я, признаться, теперь даже про двадцать шесть хвостов собольих на шапках ваших и спросить боюсь! Не знаю, осилю ли такой объем цифровой информации.

– С этим проще, – двадцать шесть – есть сумма числовых значений входящих в него букв, дающая нам одно из имен Всевышнего, – начал было Цейтлин, но был прерван...

– Вот мы и пришли! Заходи, Симеон-отрок, гостем будешь, – радушно-помпезно провозгласил Потёмкин, подводя своих спутников к уже открытым в их ожидании дверям оранжереи и зимнего сада.

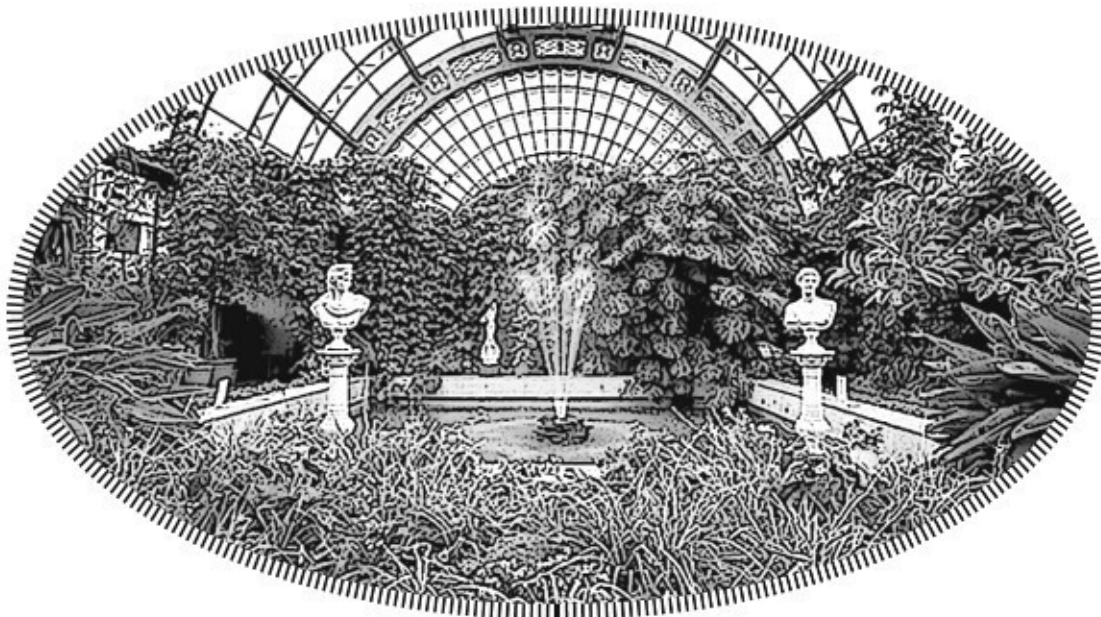
– А про идолов и язычников, им поклоняющихся, мы с тобой попозже ещё поговорим... У меня на этот счет есть особое мнение. Интересно мне, к примеру, что ты о моей нойде ижорской думаешь? Она-то ведь точно ведьма! Соснам своим священным молится...

При этих словах пригревшаяся под мышкой у гайдука Петра Ефимовича Изида зашебурилась и, выпростав длинную мордочку, устремила умный и внимательный взгляд на Светлейшего...

## Глава четвертая О пользе банно-прачечных процедур

*Аллеи пальм и лес лавровый,  
И благовонных миртов ряд,  
И кедров гордые вершины,  
И золотые апельсины...*

*А.С. Пушкин. Руслан и Людмила*



Зимний сад, в который они вошли, был как бы продолжением сада Таврического. Но в отличие от засыпанных снегом голых деревьев, этот сад цвел. Сначала шли вечнозеленые причудливо постриженные кустарники туи и самшита, кедры, средиземноморские сосны, кипарисы. Потом лавровые, миртовые и померанцевые деревья, некоторые были увиты розами и жасмином. И, наконец, просто кусты роскошных чайных роз. Контраст с голыми ветвями деревьев сада наружного был поразительный.

Хозяин всего этого светлейший князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический, похоже, только и жил ради контрастов. Мысль эта внезапно пришла в Сенькину голову и напроць там утвердилась. Всё произошедшее в дальнейшем эту прозорливость только подтвердило.

Одной из причин этой «контрастомании» Светлейшего было, скорее всего, иное устройство и подвеска его нервной системы. Напридумано на эту тему немало. Наверняка можно докторскую диссертацию написать на тему: «К вопросу о спекуляциях по поводу потенциальных психических расстройств князя Потёмкина-Таврического в работах российских и зарубежных авторов». Правду-то мы вряд ли узнаем. Да и что есть правда, читатель? Особенно историческая. Оксюморон...

Но, живи Григорий Александрович в наше время, его бы, конечно, продиагностировали по всем правилам современной медицинской науки и обязательно что-нибудь да нашли эда-

кое, disorder какой-нибудь, bipolar или – obsessive compulsive... Всенепременно нашли бы, ибо человек он был гениальный, а у них, у гениев, «веселые» нервные клетки – нейроны – как-то по-другому работают. Нейроны – это ведь отличники организма, хоть и большие капризули. Работа у них сложная, «нервная». И без нейронов нам хана! Кирдык...

Есть масса клеток, которые выполняют в организме функции шестерок, а то и хуже. Но нейроны – это элита. Перфекционисты. За то им почет и уважение и, естественно, лучшая пайка кислорода.

Нейроны свои, доставшиеся ему как щедрый генетический подарок, Светлейший холил, лелеял и шлифовал до блеска. Смоленская духовная семинария, Московский университет, Конногвардейская служба... С молодости оттренированные запойным чтением и ратным делом нейроны помогали ему в развороте боевого коня так четко рассчитать угол и силу удара, чтобы через долю секунды увидеть медленно оседающего в седле противника. А также изящно закончить шахматную партию, загоняя черные фигуры противника, жертвуя своей белой ладьей, в цугцванг...

«Одной рукой он в шахматы играет. Другой рукою он народы покоряет...» Это уже Державин, Гавриил Романович. И прямо в точку.

Многие обвиняли Потёмкина в гениальности. Наверное, это справедливое обвинение. Хотя, как мне кажется, дело в том, что, используя выражение одного, столь любимого мною нынешнего писателя, «он просто был “иной”...»

Группа людей, стоящих на зеленой лужайке посреди этого цветущего великолепия, приветствовала их радостными возгласами, с нескрываемым любопытством поглядывая на Сеньку.

Он ловил на себе взгляды нарядных дам и кавалеров и, спотыкаясь от смущения, тихо мечтал испариться. Теперь, глядя на напудренные парики и одежду окружающих, Сенька окончательно понял, что неведомо как, но занесло его во что-то совсем непонятное...

Они подошли к толпе по песчаной дорожке.

– Позвольте представить вам найденного в ночи зимнего сада отрока Симеона – с некой помпезностью, то ли шутя, то ли всерьез провозгласил князь, снимая с Сеньки соболиный малахай и возвращая его, с благодарным кивком, законному владельцу.

Цейтлин тут же водрузил на голову сей ценный и, как мы уже поняли, совсем не простой головной убор и облегченно вздохнул.

– Кстати, тебя как по батюшке величают, отрок Симеон? – нагнулся Потёмкин к подростку.

– Абрамович, – сказал Сенька, и уши его, кстати немалого размера, тут же нежно заалели. Впрочем, этого никто не заметил, и только Цейтлин, уловив тревожную нотку в его голосе, внимательно посмотрел на подростка.

На Светлейшего, впрочем, неудобоваримое это отчество произвело самое благоприятнейшее впечатление.

– Никак из староверов? – с живейшим интересом спросил он. Глаза его, вернее, глаз, сиял неподдельным любопытством и доброжелательностью. – Поповец, или другого согласия? Считаю, все Абрамычи да Авраамычи, которых я имел честь и удовольствие знать, были из «старопоморов». – И, подумав, добавил: – все, кроме Сергея Абрамыча Волконского да Ивана Абрамыча Ганнибала, недостойного сына своего отца... – процедил он, слегка оттопырив нижнюю губу, отчего стал похож на гигантского голубя.

Произнося последнее имя, Светлейший поморщился. История с генералом Иваном Ганибалом, сыном «арапа Петра Великого», бездумно и бездарно разбазарившим весь бюджет на строительство Херсонского флота, была ещё свежа в его памяти, хоть прошло уже семь лет.

– Погоди, ещё одного Абрамыча вспомнил! Текели, генерал-аншеф, Пётр Абрамыч. Запорожской Сечи усмиритель. Ох, и славный же вояка! Жаль, прошение об отставке подал. Годы, говорит, уже не те, да и здоровье. А женился, сукин сын, на молоденькой хохлушке! Ох, говорят, дает она ему жару! Даже песня про него, про Текели, по всей Малороссии ходит. Мне казаки спивали.

И, хлопнув в ладоши так, что стайка попугаев в ужасе поднялась с померанцевых деревьев и устремилась вглубь сада от греха подальше, Светлейший кокетливо изогнул внушительного объема стан и запел голосом, как ему казалось, малороссийской дивчины. Голос у Светлейшего, надо сказать справедливости ради, оказался весьма звучным и красивым:

– «Ой ты, старий “дидуган”, изогнувся як дуга, а я молоденька, гуляти раденька...» Слухи – страшное дело! – внезапно помрачнел он и прервал представление, – могу только представить, что обо мне людишки тряндят... Ну, где ты там, Симеон Авраамыч, пошли! Сейчас я тебе покажу кое-что весьма достойное и по теме. И Светлейший зашагал вглубину дворца, увлекая Сеньку за собой.

Толпа почтительно двинулась за ними. Через минуту все вошли в залу, поражающую всем: размерами, высотой потолка, лепными деталями, но в особенности колоннадой.

На описание этого дворца, его внутреннего убранства и декора, ушла бы не одна страница. Но «старик Державин», да и многие другие, уже уделили Таврическому дворцу и его чудесам немало страниц и прилагательных. И посему мы этим заниматься не будем, ибо зачем нам повторяться, читатель? Лишь на минуту остановим взор на висящих в изобилии картинах вперемежку с гобеленами. И дальше.

Пройдя залу насквозь, князь подвел Сеньку к внушительных размеров картине, не висевшей, а стоявшей на подрамнике, причем вертикально.

– Ну, вот, Симеон, – сказал он, указывая на полотно, – вот тебе и истинный Авраам. Тот самый. Праотец народов. Гляди...

Сенька оторопело уставился на картину. Изумлению искушенного члена школьного художественного кружка не было предела...

– Это же Рембрандт! Это ведь в Эрмитаже должно висеть, – пробормотал он, и в тот же миг две огромные ладони легли на лацканы его демисезонного пальтеца.

Рё-тэ-дзимэ, или удушение двумя руками затягиванием ворота с захватом разноименных отворотов одежды – так называется в современном дзюдо движение, совершенное Светлейшим. Но он об этом, естественно, и не подозревал. Дзюдо ведь появится только через девяносто с лишним лет.

Вознесенный над полом Сенька, сипя и багровея, заплясал в воздухе, как заправский висельник на рее.

– Ты кто? – страшно и тихо проговорил князь, вглядываясь в посиневшее лицо подростка, – соглядатай, лазутчик Зубовский? Говори, подлец, сейчас кишки из тебя выжму...

Дело, в общем-то, к тому и шло, кишки не кишки, но как у любого удавленника после определенного времени, проведенного в асфиксии, ещё минута-другая и содержимое внутренних органов дало бы о себе знать.

– Григорий Александрович, – прокартавил тут надворный советник Цейтлин, осмелившийся в этот драматический момент положить руку на локоть Светлейшего. (И уж поверь, читатель, не у каждого боевого генерала хватило бы на это духу.) – Мальчишка сей вряд ли

шпион... не похоже... Того и гляди, сейчас преставится. Вон уже побелел весь и почти не дышит. Не берите грех на душу...

Потёмкин внезапно увидел посиневшие губы и белки закатившихся глаз, обмякшую в захвате его чудовищных рук фигурку, и жалость, вперемишку с чувством вины, переполнила его так же стремительно, как и мгновение тому назад захлестнувшая его ярость.

– А ну-ка, не подыхай мне тут, подлец! – то ли попросил, то ли приказал он, опуская обмякшее Сенькино тело на пол.

Как огромная лохматая баба, кряхтя, встал он перед ним на колени и, оттянув веки, заглянул в оба глаза. Зрачки Сеньки то сужались, то расширялись.

– Жив! – радостно сообщил Потёмкин и с профессионализмом солдата, отправившего на тот свет не один десяток человеческих существ, начал возвращать бедолагу к жизни.

Присутствующие смотрели на его действия с невольным восхищением.

А делал Светлейший вот что. Взявши подростка под мышки, он приподнял его и слегка потряс. Затем сильно потер ему ладонями оба уха и дунул в нос. После чего усадил и сильно ударил ладонью по позвоночнику в районе середины лопаток и, как бы наводя последний штрих, похлопал ладонью справа и слева по шее, там где трапецевидная мышца плавно переходит в плечи.

Тут Сенька открыл глаза и вполне осмысленно уставился на мясистый палец Светлейшего, увенчанный тремя перстнями с мерцающими самоцветами, которым тот плавно водил перед его лицом, вперед-назад, вправо-влево, завороченно и неотрывно следя за передвижением этого пальца в пространстве.

– Жив, подлец, – удовлетворенно повторил Потёмкин, – и, судя по реакции глазных яблок, будет в полном порядке.

Тут он впервые поднял взор на окружающих. Прочитав сложную гамму чувств, повисшую в атмосфере залы, он довольно ухмыльнулся, неожиданно ловко для человека своих габаритов и веса встал на ноги, и тут же цепко ухватил с подноса идеального размера и формы соленый огурчик.

Читающий мысли Светлейшего Афанасий тут же налил тминной из хрустального штофа. Светлейший с удовольствием принял стопку и, зараз откусив ровно половину, зажмурил глаза и замер, деликатно похрумкивая и трепетно прислушиваясь к своим ощущениям. Ажно поставив от наслаждения. Огурцы соленые, маринованные и малосольные Григорий Александрович боготворил и готов был потреблять бесконечно. Ему доставляли их отовсюду: из Луховиц, Багаевской, Спасского, из Холыньи Новгородской, выращенные на иле Ильмень-озера и в дубовой бочке на всю зиму в проточной воде притопленные. Из Суздаля – наипупырчатые, из Нежина – пчелками опыленные, позднеспелые, крупнобугорчатые да черношпичные. И, наконец, из Подновья Нижегородского, где осенние мелкие огурчики солили специально для него не в дубовой бочке, а в тыкве, лишенной нутра и семян...

В тыкве!.. Нет, ты прикинь, читатель...

– О, Агурус, сиречь неспелый по-эллински, как ты прекрасен, как же ты изумляешь нам небо и тревожишь язык! – проговорил князь, весьма склонный к патетике, когда речь шла о съестном, гипнотизируя взглядом остаток огурца перед тем, как аппетитно уничтожить его в один прием.

– Мой маленький пупырчатый бог, – выходя из транса, почти всхлипнув, громко прошептал он.

– Мыть! – мгновенно меняя тему, приказал он, скользнув взглядом по потихоньку оживающей фигуре подростка и заметив, между прочим, и мокрые подтеки на одежде – следы не совсем справившихся сфинктров.

– Мыть и стирать, немедленно!

– Князь, вы только что чуть не задушили ребенка, и я спешу поздравить вас с этой эпической победой, – раздался звучный молодой женский голос.

– Задушить человека, не так просто, как кажется, любезная княгиня Екатерина Фёдоровна, – возразил Потёмкин, не оглядываясь, – даже если это ребенок...

Затем, повернувшись к толпе, торжественно провозгласил:

– Тут, княгиня, многое, знаете ли, зависит от природного строения шейной части стеновой жилы, сиречь позвоночника, и избранного вами способа удушения.

Последнее, что услышал Сенька, увлекаемый слугами в боковые покои, было:

– В бытность мою в Стокгольме, поведал мне великий Карл Линней – воистину, Князь Ботаники, что у всех живущих четвероногих тварей, равно как и у человека, строение шеи таково, что семь, и заметьте, только семь цервикальных позвонков имеется! Будь то крыса, будь то лев или жирафа африканская.

– И у меня? – продолжала задиристая княгиня.

– И у тебя, княгинюшка, и у меня... и даже – представь себе, у матушки-императрицы. Дозволь-ка шейку твою...

Воинственно настроенная княгиня Екатерина Фёдоровна Долгорукова, урожденная Барятинская, плавной походкой беременной женщины подошла к князю. Томно, с нежной издевкой посмотрела ему в глаза и с готовностью вытянула шею. Он положил одну ладонь ей на живот, другой же нежно и крепко охватил полный ствол ее шеи с неожиданно ярко выраженными пульсирующими артериями.

– Катя, Катя, Катенька, от кого пузатенька, – ласково пропел Потёмкин в княгинино пламенеющее ушко.

В толпе отчетливо слышалось сопение.

Сопел рыжий австрийский посол – граф Людовик фон Кобенцль, много лет с чисто имперским упрямством влюбленный в княгиню...

И тут тема удушения стала набирать серьезные обороты, ибо в гостиную вошел принц Шарль де Линь – знаменитый на всю Европу спорщик и софист. Один из любимейших собеседников, собутыльников и соратников Светлейшего, а также, по совместительству, его агент и соглядатай, ибо беспардонно, с чисто галльско-бельгийской элегантностью шпионил для князя, равно как и за князем, в пользу, как минимум, трех держав. О чем Потёмкин, естественно, знал, ибо контрразведка его работала безупречно, а перлюстрация почты, даже дипломатической, была в Российской империи делом привычным, обыденным...

– Позвольте, Светлейший, вы это о повешении или об удушении, сиречь асфиксии? Хочу вам возразить, мой князь, тут ведь принципиальное различие! Вот возьмем, например, испанскую гарроту. Совсем другой механизм, совсем!

– Не вижу, признаться, любезнейший принц, противоречия, ибо протрузия шейной части позвоночного столба схожа в обоих способах умерщвления, – разворачиваясь в сторону многолетнего, обожаемого оппонента, произнес Потёмкин, предвкушая изысканное интеллектуальное ристалище с одним из последних рыцарей Европы...

Сенька блаженствовал. Он сидел на корточках на дне деревянного чана для стирки белья, куда поместил его вместо ванны расторопный дворецкий Макарий, и горячая вода доходила ему почти до кадыка. В ванне, коих во дворце недостатка не было, было бы сподручней, но, чтобы нагреть их, ушло бы время. Хорошо зная Светлейшего, Макарий всей своей шкурой уловил ключевое слово его приказа – немедленно.

А в прачечной, где стояли шесть чанов для стирки, огонь, хотя бы под одним из них, не гасился никогда. Светлейший не терпел несвежих простыней и скатертей, не говоря уже о



нательном белье, сорочках и исподнем. Шесть прачек и три белошвейки круглосуточно находились при дворцовом хозяйстве. Пять молодых и одна в годах, за старшую.

Впопыхах молодайки чуть было не сыпанули в импровизированную ванну смесь щёлока с золой, уже приготовленную для замачивания простыней. Хорошо, что старшая перехватила вовремя, а то испытал бы Сенька на своей шкуре то, что испытывают закоренелые грешники на шестом круге ада. Предотвратив сию пренеприятнейшую коллизию, все население прачечной столпилось вокруг чана и стало держать совет. Решался фундаментальный вопрос: каким же, собственно, мылом мыть столь важного отрока?

Марсельским, то бишь хозяйственным, или же дегтярным, которое от «скотских хворей»? Сиречь от вшей...

– Грязью зарос, хоть репу на шею сей, – ласково мурлыкали молодайки. – Марсельским, марсельским мыльцем мальчика надо бы помыть!

– Надыть его ещё и дегтярным продраить, – прищурилась старшая, из обрусевших чухон, на живописную кучку Сенькиной одежды, лежащую на полу.

– Дык, вроде не вшивый, – отвечал Макарий, – а впрочем, давай дегтярным, Власьева. Береженого бог бережет.

Порешили: и тем и другим. Вбухали по полбруска каждого. Пена достигла Сенькиного подбородка.

– А ну-ка, барин, нырни с головой, – строго сказала Надежда Власьева.

Сенька с радостью исполнил приказ. Горячая вода в блокадном городе исчезла в сентябре, а водопровод в их квартире не работал уже больше месяца. По нужде большой и малой население квартиры стало ходить в ванну, ибо туалет был забит напрочь и безнадежно.

Девки принялись мылить, скрести и чесать ему башку, а Макарий помчался на поиски мочала. И пока его не было, девки ласково, но крепко, стали тереть и оглаживать его своими ладонями по спине и ниже... С хохотом прихватывая в мыльной воде кой-какие причиндалы. Сенька слегка повизгивал, но особо не вырывался, ибо мытье такое пришлось ему весьма по вкусу.

В разгар этой мыльной феерии, ударом ноги отворив дверь, так как руки его были заняты изрядного размера фарфоровым блюдом, в прачечную вошел Потёмкин.

– Неплохо устроился, – сказал он с одобрением, мгновенно оценив ситуацию. Жестом отпустив банщиц, Светлейший уселся полубоком на край чана, на манер наездницы в дамском седле, пристроил блюдо на внушительного размера ляжке и отправил кусочек холодной телятины, предварительно обмакнув его в хрен, себе в рот.

По дороге в прачечную Светлейший не удержался от соблазна прихватить с собой блюдо с ломтями буженины и ломтиками холодной телятины, каперсами, огурчиками, а также хреном и горчицей.

– Дегтярным драите? – покрутив носом, спросил он.

– И дегтярным, и марсельским, – с поклоном отвечала старшая.

– А чего не лодыгинским?

– Не посмели, батюшка, – подоспел запыхавшийся Макарий со жгутом лыкового мочала.

– Липа? – спросил Светлейший, дожевывая и чутко поводя ноздрями.

– А как же ж...

– На колу мочало, начинай сначала! Тащи лодыгинское мыло из моей умывальни! Для духа...

Потянувшись за вторым ломтиком, он поймал Сенькин голодный взгляд, и тут же ловко впихнул ему в рот телятину. Пока Сенька жевал, благодарно поглядывая на Светлейшего, тот строго выговаривал, раскачивая гигантское блюдо на гигантской ноге:

– Извинений не приношу, уволь, покуда не услышу внятных объяснений, иначе додущу до конца на сей раз...

Сенька судорожно сглотнул и чуть было не подавился недожеванной телятиной. Но князь был начеку и звучным, но всего лишь в четверть силы шлепком направив пищевой поток в правильном направлении, произнес помягче:

– Да не бзди, а изволь объясниться... откуда ты... кто ты, ну?

– Понимаете... – абсурд происходящего заставил Сеньку собрать мысли воедино и выражать их по возможности спокойно и логично, как, к примеру, периодическую систему химических элементов, или какой-нибудь закон Бойля – Мариотта. Как будто бы он всего лишь на уроке той же физики, уговаривал он себя...

– Видите ли, Григорий Александрович, – как можно солиднее сказал он, – у меня создалось впечатление, что мы живем в разные временные эпохи. Я понимаю, что в это очень тяжело поверить, но другого объяснения у меня нет...

Слегка приподняв бровь на панибратское «Григорий Александрович», Светлейший выслушал остальную часть Сенькиного посыла без видимого скепсиса. Окинув отрока тяжелым взглядом, спросил:

– Так ты что, колдун? Это, брат, пожалуй, похуже шпиона будет...

Сенька от ужаса ушел с головой под воду и чуть было не захлебнулся, но Светлейший опять спас его. Извлек из пучины пенно-мыльной, ухватив за волосы.

– Я не колдун и не шпион! Я просто мальчик, живу в двадцатом веке! – вопил он, отплываясь от пены, – сам не знаю, как попал к вам, в ваш восемнадцатый...

От безнадежности все его аргументы как-то разом скукожились.

– Я заметил, что не девочка, – многозначительно сказал Потёмкин, – а вот остальное нужно бы доказать. И скормил Сеньке солидный кусок буженины. Затем отправил такой же ломоть себе в рот и принялся задумчиво жевать.

Так, в молчаливом обоюдном пережевывании, прошла пара томительных минут...

– Тут не красный, а белый хрен лучше пошел бы, – глубокомысленно заметил Светлейший и хотел было развить эту мысль дальше, но тут принесли из княжеской умывальни брусок мыла ручной работы с Шуйской мыловарни Лодыгина. Мыло это готовили специально для Светлейшего, на чистом коровьем масле с примесью миндаля, лаванды и огурца, и он давно уже предпочитал его и французскому и итальянскому.

Подсадила Потёмкина на шуйское мыло сама государыня-императрица. Екатерина Алексеевна с молодости была сама не своя до всякой парфюмерной всячины. И со свойственным ей любопытством и настырностью вникла в суть мыловарения, тем более что тут у нее был свой особый интерес...

Светлейший с неожиданной нежностью вдруг вспомнил встречи их и беседы в дворцовой баньке, когда, напарившись и натешившись властью, вели они свои бесконечные разговоры, в то время как озверевший от ревности граф Орлов рыскал под окнами.

Как же он любил свою тогдашнюю Катеньку! «Жизнь моя, душа общая со мной! Как мне изъяснить словами мою к тебе любовь! О, мой друг, утеха моя и сокровище бесценное...»

Говорить с ней тогда можно было решительно обо всем. Круг интересов был неисчерпаем. У обоих. Ведь обоими были прочитаны тонны книг. И пережиты тысячи жизненных коллизий. А вопросов было великое множество...

Как перестроить мир? И можно ли? О восстании алеутов на Аляске. О наследнике Павле. О проходимцах – графьях Сен-Жермене и Калиостро. О разгорающейся революции в Американских колониях. И не перекинется ли революция эта в Европу? О сладости почесывания и наслаждениях кожно-мышечных... О лютеранстве и о православии. И как возродить Византию? Как вернуть Иерусалим? И кого там потом поселить? О новой опере молодого Моцарта.

Как просветить Россию? Освободить ли народ? И чем это обернется? О вечной молодости! О яблоках...

... Яблочная тема оказалась бесконечна. Они говорили и о золотых яблоках Гесперид, и о яблоке с дерева познания добра и зла. И, конечно же, о молодильных яблоках и живой воде. Екатерину Алексеевну концепт молодильных яблок всю жизнь будоражил очень, а с годами особенно...

– Вот тебе мыльце с молодильными яблоками, помойся, папочка, – протянула она ему как-то брусочек мыла нежно-желтого цвета. Потёмкин принялся. И вправду, тянуло яблоками и ещё чем-то сладковолнующим.

– Сирень?

– Ландыш, – шепнула она, – и чуть-чуть масла миндального, ну и яблочки с корицей, конечно...

– Венецианское?

– Нет, наше, шуйское, знаешь песенку такую: «Я умоюсь молодешенька, мылом шуйским я белешенько...»

– Младешенька, а не молодешенька, – поправил Потёмкин императрицу ласково, – старославянский имеет тенденцию иногда опускать гласные, колбасочка моя немецкая, – и допел шикарным басом: «...и я встану, младешенька, ранним-рано, ранешенько!»

– Ну, что поделать, – покорно соглашалась она, млея от счастья, – колбаска так колбаска. Немчура я и есть, правда, с примесью датской и шведской крови. А мыльце это я сама придумала, у меня разные мыльные мысли есть... Мяту, огурчик для свежести подмешать – это российский букет. А вот масло кокоса с маслом пальмовым – это вроде как экзотика стран южных. Или вот лаванда – привет Прованса французского...

– Так ведь пользуем же мы мыло из Прованса, с травами! Ты же сама, Кать, лет пять назад заключила с Людовиком договор торговый. Мыла марсельского этого теперь стало – хоть одним местом ешь.

– Это так, но есть нюанс, Гришенька, Savon de Marseille – вещь, конечно, исключительная – и по аромату, и моет хорошо. Грязь да жир снимает, но ежели дешевый сорт, то нету в нем той мягкости, как в нашем шуйском... Французы же его на оливковом масле варят. Знаешь, по закону прованскому нельзя ну ни капли жира животного, ни-ни! А наше-то – на чистом коровьем масле...

– Говорят, ты и кофейной гущей по утрам моешься, Кать?

– Моюсь, Гришенька, моюсь.

– Весь брусок бросать, княже, али пол? – вывел Светлейшего из сладких воспоминаний голос старшей.

– Весь, весь вбухивай, – отмахнулся он, возвращаясь с неохотой к непонятной и странной ситуации.

Мысли его, обычно острые и резвые, как-то вяло блуждали в этот раз по задворкам сознания, пытаюсь выкристаллизироваться в верное решение. Загадку надо бы загадать этому удивительному отроку... Что-то типа теста. И тут его осенило...

– Коля и взаправду в будущем обретаешься, то должен много чего знать и о делах прошлого, не так ли? – слегка раздражаясь на осторожность своего голоса, начал он издали.

Сенька сосредоточенно молчал, пытаюсь понять, куда же клонит его грозный экзаменатор.

– Про Измаил что знаешь? – выпалил наконец Потёмкин и, весьма довольный собой, испытующе впери в подростка свой одноглазопылающий голубым огнем взор.

Облегченно выдохнув, Сенька вдохнул и, помогая себе диафрагмой, затараторил скучным голосом советского зубрилы-отличника:

– Измаил – одна из крупнейших турецких крепостей XVIII века, расположенная в устье реки Дунай. Являлась одной из твердынь Оттоманской империи, пока не была взята гениальным русским полководцем – генералиссимусом Суворовым А.В., прославившимся также переходом через Альпы во время своего швейцарского похода. И, помолчав, добавил для убедительности: А.В. – это Александр Васильевич...

Это было похоже на реванш за удушение и другие мелкие угрозы со стороны Светлейшего. Но Сеньку он отнюдь не порадовал. Скорее удручил. Мгновенная метаморфоза сиятельного князя Священной Римской империи, хозяина жизни, демиурга, была просто непостижима...

Не дай нам Бог видеть Великих в минуты слабости их! – Генералиссимус... – просипел князь гигантским питоном Каа. – Через Альпы! – уже на тон ниже, но как-то заунывно.

Не совсем понимая, в чем, собственно, дело, Сенька с готовностью продолжал:

– Даже картина есть такая: «Переход Суворова через Альпы» художника Сурикова. Висит в Русском музее, а также известная мозаика на фасаде Музея Суворова. Он ведь второй в мире, кто совершил этот «беспрецедентный» военный маневр. Мозаика, правда, сейчас закрыта из-за бомбежек...

Пытаясь щегольнуть умным словом «беспрецедентный», он слегка облажался, зажевал пару-тройку гласных, и получилось что-то, слегка отдающее гастрономией и специями. Он виновато взглянул на потухшего князя, но тот никак не отреагировал на его фонетический ляп. Сидел сиднем. Снеговиком, осевшим под солнечными лучами, и молчал. Чтобы как-то развеять тягостность ситуации, хотя вины он за собой не чувствовал ну никакой, Сенька робко добавил:

– А первый был Ганнибал Барка, великий карфагенский полководец. Суворов всегда брал с него пример... Его, кстати, свои и предали...

– Суворова? Свои? – ужаснулся Светлейший, и Сенька понял, что он не в себе.

– Да нет же, Ганнибала! Ганнибала предала продажная карфагенская элита! Ему даже пришлось отравиться...

Выходил из транса Светлейший гораздо медленнее, чем в него вошел.

Но всё же выходил. Правда, как-то очень уж мучительно. Со слезой, навернувшейся в незрячем глазу, и с тоской в зрячем. Но постепенно тоска растаяла, и голубой свет его единственного глаза стал теплеть. Светлейший встал, и в рассеянной задумчивости прошелся пару раз по прачечной.

– Без меня не был бы Суворов Суворовым, и это неоспоримо! – убежденно изрек он.

Но тут хруст фаянсового блюда с остатками растрепанной буженины под каблуком временно отвлек его внимание. Оттирая хрен с сапога шелковой салфеткой с вышитым вензелем «ГПТ», он продолжал диалог с самим собой:

– Суворов, бесспорно, гений и генералиссимуса, возможно, и заслужил. Но талант его был мною раскрыт и развит. Да и по жизни кто, как не я, его поддерживал повсеместно! Александр Васильевич ведь женским полом обиженный. Робок с бабами был всю жизнь, может, потому война и есть его Прекрасная Дама. Истинная... Жена его позорная, урожденная Прозоровская, княжна, уж так его опускала, беднягу! Я ведь изо всех сил перед Матушкой о разводе его хлопотал! Так нет же – вся московская родня ее, весь Прозоровский клан навалился, и не дали развода бедолаге! Присудили «раздельное жительство», да ещё 1200 рубликов ежегодного содержания платить... Тьфу! – сказал Светлейший, сжимая кулаки.

Эмоциональная встряска явно пошла ему на пользу. Он на глазах возвращался в свою прежнюю, привычно-величественную версию.

– «Долгий век Князю Григорию Александровичу!» – это же он сам, сам Суворов мне писал. Когда за победу Рымникскую был он и в славе выкупан, и наградами усыпан и мною, и императрицей. С моей подачи он титул «Рымникский» получил! Орден Святого Георгия 1-й степени... Правда, всё заслуженно, слов нет. Победа, право, была блистательная... По ней будущие полководцы учиться будут, как воевать...

Притихшие девки, открыв рты, наблюдали за необычным действием. Старшая же, наоборот, закусив кулак, отвернулась. Мудрый Макарий, инстинкт самосохранения у которого был на должном уровне, тихо самоудалился. Во избежание...

– Так у Александра Васильевича, выходит, и музей имеется? – с непонятной для Сеньки горечью произнес Потёмкин, – что же еще?

– Памятник на Марсовом поле, проспект Суворовский...

– Проспект, памятник... недурно, совсем недурно Александр Васильевич вписался в ваше будущее... Князем не стал, случайно? Император Иосиф II ведь по моей личной просьбе пожаловал ему титул графа Священной Римской империи!

И он опять заходил по прачечной, пытаясь справиться с волнением. Сенька, глядя на него, почему-то тоже разволновался.

– «Великий вы человек! Счастье мое умереть за вас!» – тоже ведь его, суворовские, собственные слова. Александра Васильевича... а шпагу с бриллиантами, с надписью «Победителю визиря» – кто ему подарил? – не успокаивался Светлейший.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.